



Имена персонажей в “Путешествии из Петербурга в Москву”

В.И. ГЛУХОВ,

доктор филологических наук

Направляясь из одной российской столицы в другую, главный герой А.Н. Радищева, размышляющий дворянский интеллигент, встречает по дороге десятки лиц разного общественного положения, образа мыслей и намерений. С одними из них он был знаком ранее, с другими знакомится в пути, о третьих узнаёт из полученных от приятелей писем или из уст попутчиков... И сколь непохожи все они друг на друга, столь разнится отношение к ним рассказчика. Это проявляется, в частности, в том, как по-разному писатель представляет своих персонажей: в ряде случаев он лишь называет их служебную должность и сословную принадлежность, в иных рекомендует по фамилии или имени, а то и вовсе подаёт безымянно. За этим просматривается определённая авторская позиция.

Путешествующий герой чаще встречает на своём пути, – что совершенно естественно и понятно, – людей ему незнакомых. Таковы должностные лица, лишённые прозвания и именуемые только по их служебной должности. Вот лишь некоторые: почтовый комиссар, отказавшийся предоставить путешественнику лошадей, хотя они на станции были (“София”); “старого покрою стряпчий”, который, злоупотребляя служебным положением, установил родословную многих знатных дворянских семей и теперь едет в Петербург, где надеется продать им свой труд “себе в пользу” (“Тосна”); начальник береговой охраны, считавший, что в его обязанности не входит спасение утопающих и потому оставшийся безучастным к разыгравшейся на море трагедии (“Чудово”); избалованный “государев наместник”, периодически отправлявший

курьера на казённые средства в Петербург за устрицами из отдалённого края России ("Спаская Полесь"); выпешший из придворных истопников и лакеев коллежский асессор, ставший жестоким помещиком-крепостником ("Зайцово"); "дворянин некто", отнявший у своих крепостных "малый удел пашни и сенных покосов" и заставивший их самих, их жён и детей во все дни года работать на себя ("Вышний Волочок").

Всем этим извергам, мошенникам и душегубам Радищев не даёт собственного имени, не видя в них ничего достойного звания человека. Они вызывают у него особое неприятие, поскольку от их злонамеренных действий или равнодушного бездействия страдают безвластные люди. Не наделив их персональными именами, писатель тем не менее находит им общее прозвание. Случаю угодно было подвести знаковую фамилию ... в коляске. А было так: путешественник, расстроенный дорожными неприятностями ("ось у кибитки переломилась"), дожидался исправления поломки. И видит, что мимо "скачет коляска", а в ней его знакомый, который передаёт ему письмо из Петербурга. В письме сообщалось, что вконец промотавшийся 78-летний барон *Дурындин*, в целях укрепления материального положения, женился на 62-летней молодке, купеческой вдове, составившей себе изрядный капитал весьма неприглядным способом.

По прочтении письма разгневанный правдолюбец с горечью констатирует: "Не дивись, мой друг! На свете всё колесом вертится. Сегодня умное, завтра глупое в моде. Надеюсь, что и ты много увидишь дурындиных. Если не женитьбою всегда они отличаются, то другим чем-либо. А без дурындиных свет не простоял бы трёх дней" ("Зайцово"). Так фамилия выжившего из ума барона становится у Радищева нарицательной, характеризующей вереницу его омерзительных персонажей.

Есть в книге глава, где несимпатичные автору герои выступают не под собственными, а пародийно истолкованными литературными именами. Речь идёт о главе "Валдаи", в которой рассказывается о "любо-страстном" монахе, каждую ночь переплывавшем ради встречи с любовницей Валдайское озеро, но однажды в ветреную погоду погибшем в его разъярённых водах. О монахе этом сказано: "сей новый Леандр", а о его страсти — "сия новая Геро". Сначала можно подумать, что здесь травестируется древнегреческий миф о любви Геро и Леандра. Но какой же смысл писателю травестировать этот поэтический миф? К тому же ничего подобного в произведениях Радищева вообще не наблюдается.

Скорее всего здесь не что иное, как пародийно-полемический отклик на анонимное сочинение, опубликованное в журнале "Московское ежемесячное издание" (1781. № 6. С. 102–121) под заглавием "Геро и Леандр. Понтийская повесть". В ней древнегреческий миф перелаживается на сентиментальный лад. О пародийно-полемической установке свидетельствует радищевский текст: "Если бы я писал поэму на сие, то

бы читателю моему представил любовницу его в отчаянии. Но сие было бы здесь излишнее. Всяк знает, что любовнице, хотя на первое мгновение, скорбно узнать о кончине любезного. Не ведаю и того, бросилась ли сия новая Геро в озеро или же в следующую ночь паки топила баню для путешественника. Любовная летопись гласит, что валдайские красавицы от любви не умирали... разве в больнице”.

Совершенно очевидно: сентиментальная версия вызывает у автора ироническое отношение и отвергается, он предпочитает следовать действительности. Слова “если бы я писал поэму на сие” не противоречат сказанному, ибо сентиментальные сочинения в прозе, основанные на мифологическом или библейском материале, тогда назывались поэмами. К примеру, Д.И. Фонвизин переводит и издаёт в 1769 году поэму в прозе Битобе “Иосиф”. Поэмой в прозе является и “Смерть Авеля” Геснера, которую Фонвизин тоже собирался перевести. Что же касается анонимной “Понтийской повести”, то она и начинается, как поэма: “О Муза! воспой пламень, освещающий сокрытую в тёмной ночи любовь отрока, разделяющего волны морские ради соединения с его возлюбленною...”.

Отмежевавшись от разработки темы любви в духе сентиментализма, автор в следующей главе “Путешествия” рассказывает о любви крестьянской девушки Анюты. Её образ написан в реалистической манере и противостоит образам чувствительных красавиц в повествованиях того времени.

К простым людям, незаурядным, забитым, поруганным, но исполненным собственного достоинства, Радищев относится с нескрываемой симпатией и сочувствием. Среди них: пахарь из-под Любани, отвечавший на вопросы проезжего дворянина без тени какого бы то ни было раболепия и унижения (“Любани”); крестьяне, которые, отважившись оградить себя от издевательств со стороны господ, убивают своих мучителей (“Зайцово”); седовласый нищий-певец, бывший воин, потерявший зрение в бою с врагами отечества, но не утративший личного достоинства: он не принимает дорогого подавания от барина (“Клин”); баба, решившаяся на важный для неё разговор с барином о своём житье-бытье, о нелёгкой крестьянской доле, буднях, полных нищеты (“Пешки”) и т.д. Безымянность этих персонажей подчёркивает их индивидуальность в массе деревенских жителей, среду которых его герой, горожанин, знал совсем недостаточно. Под собственными именами у него действуют только лица, которых он уже давно знал или с кем, находясь в пути, устанавливает дружеские, доверительные отношения.

Первым под своей фамилией (хотя и обозначенной только её начальной буквой) появляется в радищевской книге приятель путешественника Ч., с которым он встречается в Чудове и выслушивает его взволнованный рассказ о происшествии в Финском заливе и бездушном отношении властей к разыгравшейся там трагедии. Буква Ч. скрывала

реальное лицо – П.И. Челищева, товарища Радищева по Лейпцигскому университету, что вскоре поняли читатели “Путешествия”, включая Екатерину II. Возмущённый бездушием властей, в том числе высших, приятель путешественника, человек энергичного нрава, в знак протеста принимает решение навсегда оставить Петербург: “Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие – грызть друг друга; отрада их – томить слабого до издыхания и раболепствовать власти” (“Чудово”).

Второй в этом ряду – человек совсем иного нрава и даже несколько неожиданный для читателя персонаж, тоже знакомый рассказчика – Карп Дементьич, купец третьей гильдии, а в настоящем и именитый гражданин Новгорода. Рассказчик попал в круг знакомых купца случайно, когда несколько лет назад, сам того не ведая, “пособил” тому записаться в именитые граждане. Карп Дементьич – сложный характер и единственный персонаж книги Радищева, наделённый именем и отчеством, но, вероятно, не из особого к нему почтения, а ввиду его преклонного возраста. Имя и отчество купца, надо думать, принимается автором в расчёт как одно из средств его характеристики. Карп – от греческого *karpos* – означает *плод*, а Дементий от латинского *demen-tis* – *укрошающий*. Судя по логике рассказанного, Карп Дементьич, бесчестно обогащаясь, умеет “укрошать” и подчинять своей воле им же обобранных и обкраденных, включая самого путешественника, извортливо покоряя каждого притворной “признательностью”.

В двух центральных главах книги “Зайцово” и “Едрово” заметно внимание рассказчика к знакомым и незнакомым ему молодым людям, привлекающим к себе внутренним благородством и чистотой намерений. Это – приятель путешественника с детских лет *Крестьянкин* и деревенская девушка *Анюта*. Впервые человек из народа обретает у Радищева собственное имя.

Старый друг рассказчика назван *Крестьянкиным* не случайно. Этот гуманный дворянин, получив в суде должность председателя гражданской палаты, подходил к рассмотрению дел, касающихся крестьян, столь же непредвзято, как и всех остальных, хотя и встречал нарастающее противодействие со стороны властей и коллег по суду. Вынужденный уйти в отставку, он не мог не “оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния”. Писатель даёт этому герою возможность излить в развёрнутом монологе свою возмущённую душу.

А имя *Анюта* было одним из самых распространённых в тогдашней крестьянской среде. Поэтому и в комических операх XVIII века, изображающих жизнь русской деревни, простые девушки зачастую действуют под этим именем (“Анюта” М.И. Попова, “Мельник–колдун, обманщик и сват” А.О. Аблесимова, “Несчастье от кареты” Я.В. Княжина, “Кофейница” И.А. Крылова). Радищев этим именем подчёркивает типичность изображаемой им крестьянской девушки, поразившей

дворянского интеллигента нравственной чистотой и цельностью натуры. Подстать Анюте и её жених Иван, отказавшийся, так же как и её мать, принять от доброжелательного дворянина деньги на приданое невесте. И не случайно, что вера Радищева в социальную активность крестьянства в будущем впервые выражена именно в рассказе о едровской Анюте и её женихе: “Но крестьянин в законе мёртв, сказали мы... Нет, нет, он жив, жив будет, если того восхочет...”.

В размышлении о настоящем и будущем российского крестьянства Радищев включает в свою книгу и главы “Медное” и “Городня”, в которых показывает, до каких пределов доходят крепостники, унижая безвластных людей, и во что это им может обернуться. Вот дворовые крестьяне разного пола и возраста, продаваемые “с публичного торга”. Все в отчаянии, но покорны своей участи, кроме одного, “детины лет в 25”, бывшего наперстника своего господина, который готов за надругательство над собой к отмищению (“В кармане его нож”).

Характерно, что все продаваемые с аукциона крестьяне, в том числе жаждущий отмищения детина, хотя и были наделены индивидуальными чертами, всё же оставались безымянными. И, видимо, опять же потому, что они, по мысли автора “Путешествия”, ещё не переступили порога, за которым человек предстаёт в более достойной его ипостаси. Иным очерчен крепостной интеллигент из “Городни”: он сформировался как личность и готов скорее умереть, чем поступиться своим достоинством. Чувствуя за ним нравственную силу, старый барин называл юношу ласково Ванюшей. Отданный в солдаты, он был рад, что его уже не зовут Ванькой или каким-либо иным “поносительным наименованием”.

У Радищева не действуют, а лишь обозначены персонажи-идеологи, лица умные и образованные, сосредоточенные на осмыслении той или иной социальной проблемы или являющиеся носителями неких нравственно-философских воззрений. Это мечтающий об освобождении крестьян “гражданин будущих времён” (“Хотиллов”), свободолюбивый “порицатель цензуры” (“Торжок”), “новомодный стихотворец”, автор оды “Вольность”. Это и “новгородский семинарист” и “крестичский дворянин”, заинтересовавший путешественника наставительной речью, обращённой к отправляющимся на службу сыновьям (“Крестьяцы”).

Все эти персонажи в “Путешествии” только названы. Даже их внешность почти или совсем не обрисовывается, а “гражданин будущих времён” и вовсе остаётся за “кадром”. Их главное дело – выношенные ими идеи, о которых они рассказывают путешественнику или излагают их в специальных трактатах, проектах или сочинениях другого жанра. Так, повествователь радищевской книги становится читателем философского трактата новгородского семинариста, политических проектов “гражданина будущих времён”, “Краткого повествования о происхождении цензуры”, оды “Вольность” и “Слова о Ломоносове”, пере-

данных ему их авторами или иным способом. По всей видимости, Радищев считал, что сочинения и идеи этих лиц характеризуют их гораздо полнее, чем имена и внешний облик.

Уместно заметить: по мере развёртывания повествования Радищев всё чаще вводит симпатичных ему персонажей (Крестьянкин, Анюта и её жених, крепостной интеллигент Иван, слепой певец), всё чаще знакомит читателя со своими персонажами-идеологами. Несомненно, это соответствовало его замыслу.

Впрочем, самый главный идеолог – тот, кто совершает поездку из одной столицы в другую, остаётся никак не названным. Однако, думается, по замыслу Радищева, он должен был быть назван, и уже в заглавии книги. В нескольких дошедших до нас списках книга была озаглавлена: “Проницающий гражданин, или Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву” (см.: Материалы к изучению “Путешествия из Петербурга в Москву” А.Н. Радищева. М.-Л., 1935. С. 250–254, 257). Едва ли переписчик отважился на такое. Скорее всего, – это одно из ранних названий радищевского произведения, позднее усечённое по цензурным соображениям. Оно подчёркивало, что самое существенное, наряду с описанием путешествия героя, – работа его *аналитической мысли*.

“Проницающий гражданин” – это достаточно точное и ёмкое из всех возможных определений путешествующего героя. И поскольку оно непосредственно соотносится с тем, как был назван его искренний друг, “гражданин будущих времён”, это лишний раз подчёркивает его подлинность и принадлежность Радищеву.

Иваново



“УНИЖУСЬ ДО ПРЕЗРЕННОЙ ПРОЗЫ...”

В.Д. РАК,
доктор филологических наук

В 1821 году “певец-гусар” Денис Давыдов, который, как ему напоминал Пушкин,

... пел биваки,
Раздолье ухарских пиров
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов;

а после войны

... славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутылъ

(Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.-Л., 1949. Т. II. С. 202; далее – только том и стр.) выпустил в Москве книгу под заглавием “Опыт теории партизанского действия”. Когда она дошла до Кишинёва и Пушкин с нею познакомился, он принялся писать стихотворное послание автору (“Недавно я в часы свободы/Устав наездника читал...”, июнь 1821–1822), чтобы выразить сожаление по поводу того, что “перебесилась наконец (...) проказливая лира” его друга, который, “сердцем охладев навек,/ (...) стал в угоду миру/Благоразумный человек”.

О горе, молвил я сквозь слёзы,
Кто дал Д(авыдову) совет
Оставить лавр, оставить розы?
Как мог *унизиться до прозы*^{*}
Венчанный Музою поэт...! (II, 274)

Однако (не без изрядной доли, разумеется, литературного кокетства) Пушкин не исключал со временем и для себя подобной метаморфозы. Заглядывая в третьей главе “Евгения Онегина” (1824) в своё творческое будущее и предвидя возможное обращение к прозе, он писал:

Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займёт весёлый мой закат. (VI, 56–57)

В беловом автографе употреблён более сильный эпитет:

Унижусь до презренной прозы (VI, 578).

На несколько лет сочетания “унизиться (низойти) до прозы” и “презренная проза” становятся в лексиконе Пушкина устойчивыми и довольно часто употребляемыми фразеологизмами.

“... стихов новых нет – пишу Записки, но и *презренная проза* мне надоела”, – писал Пушкин брату из Михайловского в конце января – первой половине февраля 1825 года (XIII, 143).

В последних числах сентября
(*Презренной прозой говоря*)
В деревне скучно... (“Граф Нулин”, 1825; V, 3).

“В деревне я писал *презренную прозу*, а вдохновение не лезет”, – общал Пушкин П.А. Вяземскому 1 декабря 1826 года (XIII, 310).

* Здесь и далее в текстах Пушкина и Байрона курсив наш. – В.Р.

“Почтенный александрийский стих переменял я на пятистопный белый, в некоторых сценах унился даже до презренной прозы...”, – объяснял он в оставшемся незавершённым «(Письме к издателю “Московского вестника”» (январь – февраль 1828) свои художественные новации в “Борисе Годунове” (XI, 67).

В последний раз эти выражения употребляет автор “Истории села Горюхина”, провинциальный помещик Иван Петрович Белкин, рассказывая о своём в полном смысле этого слова *нисхождении* от высоких поэтических дерзновений к повестям, сюжеты которых составили “замечательные анекдоты”, некогда им слышанные “от разных особ”: «Все роды поэзии (ибо о *смиренной прозе* я ещё и не помышлял) были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из Отечественной Истории. Недолго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика – и принялся за работу. (...) поэма моя подвигалась медленно, и я бросил её на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род, и начал трагедию “Рюрик”. Трагедия не пошла. Я попробовал обратить её в балладу – но и баллада как-то мне не давалась. Наконец вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика. (...) однако ж я почувствовал, что я не рождён поэтом (...) Я хотел *низойти к прозе...*» (VIII, 131).

После “Болдинской осени”, когда проза перестала быть для Пушкина, как ранее, лишь способом занять себя хоть каким-то писательским трудом в отсутствие поэтического вдохновения (см. выше цитату из письма П.А. Вяземскому; также в письме А.А. Дельвигу от 31 июля 1827 года: “...вдохновенья ещё нет, покамест принялся я за прозу”, то есть за “Арапа Петра Великого” – VIII, 334) и выдвинулась в его творчестве на место, равное по значимости с поэзией, из его языка исчезают все выражения, обозначающие её второстепенное, “низшее” положение в творческой иерархии.

Комментируя приведённые строки из “Евгения Онегина”, в которых проза названа “смиренной”, и приведя также другие цитаты, где по отношению к ней употреблён эпитет “презренная”, Ю.М. Лотман пояснил, что “Пушкин, с одной стороны, иронически использует выражение поэтик XVIII в., считавших прозу низменным жанром, а с другой – отстаивает право литературы на изображение жизни в любых её проявлениях, включая и наиболее обыденные” (Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Л., 1983. С. 215). К сожалению, ни одной из поэтик, где проза характеризовалась бы как “смиренная”, “презренная” или что-то по смыслу близкое, учёный не указал, оставив читателям верить ему на слово. Между тем, по всей видимости, фразеологизмы, о которых идёт речь, были Пушкиным усвоены из другого источника, именно – от Байрона, который в своих про-

изведениях дважды – и оба раза в язвительно-poleмическом тоне – заговаривал о том, что, может быть, ему придётся “опуститься” до прозы. В обоих случаях сатирические стрелы метили в поэтов-романтиков так называемой “озёрной школы” – Уильяма Вордсворта, Сэмюэла Тейлора Кольриджа и Роберта Саути, осуществивших не принятую “певцом Гяура и Жуана” (“Евгений Онегин”, гл. VII, строфа 22) реформу английского поэтического языка, состоявшую в его сближении с живой, разговорной речью обыденных людей и повлёкшую с собою, в частности, широкое использование белого стиха как одного из средств достичь искомого эффекта.

В строфе LI шутильной поэмы “Бенпо” (1817) Байрон притворно жаловался на то, что не владеет искусством писать легко на потребу вкусам читателей (“the art of easy writing/What should be easy reading”), которым нравятся произведения, не требующие умственного напряжения для восприятия, например “греческие”, “сирийские” и “ассирийские” стихотворные повести, где “изящнейший ориентализм” приправлен “западной чувствительностью”. В следующей строфе (LII), называя себя в порыве деланного самоуничижения “безвестным человеком” (“a nameless sort of person”; в переводе В.В. Левики – “мелкий рифмач”), он заявил о приверженности рифме (“I(...) take for rhyme”), с помощью которой, выбрав первую попавшуюся из словаря рифм, “сцепляет” свои “беспорядочные” стихи (“to hook my rambling verse on”). Строфа кончается двустушием:

I've half a mind to tumble down to prose
But verse is more in fashion – so here goes.

(перевод: “Я уже почти готов *насть до прозы*, но предпочитают стихи – так вот они”).

К этой же теме Байрон вернулся в строфах CC–CCVI первой песни (1819) “Дон-Жуана”, где, назвав сие творение эпической поэмой (“My poem’s epic...” – CC), обосновал (всё это, напоминаем, язвительно poleмически) его право числиться в этом жанре, то есть принадлежать к высшему роду поэтических созданий, строгим соблюдением всех установленных Аристотелем и другими авторитетами канонических правил, за одним, впрочем, “небольшим отступлением” (“one slight difference”), состоявшим в жизненной правдивости, невыдуманности всего сюжета. В этом он видел своё преимущество перед всеми писавшими до него в эпическом жанре и задумывался о том, чтобы изложить свои “поэтические предписания” (“poetical commandments”) в специальном теоретическом опусе, который превзошёл бы по значимости все когда-либо написанные труды такого рода и был бы подобен “Поэтике” Аристотеля и приписываемому Лонгину трактату “О возвышенном” (оба сочинения – прозаические). Строфа CCIV, где заявляется претензия на место среди величайших теоретиков литературы, открывается приме-

чательной – для комментируемых в данной заметке выражений Пушкина – строкой:

If ever I should *condescend to prose*...
 (“Уж если я *до прозы снизойду*...” –
 пер. Т. Г. Гнедич).

Отметил Байрон (строфа ССИ) и ещё одно отличие – своё предпочтение рифмованного стиха белому:

Prose poets like blank-verse, I'm fond of rhyme,
 Good workmen never quarrel with their tools...

(перевод : “Поэты-прозаики любят белый стих, мне нравится рифма, хорошие мастеровые не отказываются от своих инструментов”).

Известно, какое сильное влияние Байрона испытал Пушкин на юге и в Михайловском, с каким увлечением читал он произведения английского поэта и какое впечатление произвели на него две первые песни “Дон-Жуана” (“Что за чудо Д.(он) Ж.(уан)! я знаю только 5 перв.(ых) песен; прочитав первые 2, я сказал тотчас Раевскому, что это *Chef-d'oeuvre* Байрона...” – письмо П. А. Вяземскому от второй половины ноября 1825 года; XIII, 243). Мимо его внимания не могли, конечно, проскользнуть строфы, в которых затрагивались столь важные положения, касавшиеся основ поэтического мастерства. Вряд ли остались незамеченными и строки, в которых Байрон говорил о прозе как бы свысока, и, следовательно, есть веские основания считать, что пушкинские фразеологизмы взяли своё начало в “Беппо” и первой песне “Дон-Жуана”. Однако для полной уверенности необходимо объяснить, почему в употреблении Пушкина байроновские глаголы, выражавшие *нисхождение* к прозе, усилились эпитетом “презренная”, приобретшим характер постоянного. Сам ли Пушкин подчёркивал таким образом своё пренебрежение к этому роду литературы (писал, ведь, он П. А. Вяземскому 19 августа 1823 года: “Я обещал ему < Н. И. Гнедичу. – В. Р. > предисловие – но от прозы меня тошнит. Перепишись с ним – возьми на себя это второе издание и освяти его своею прозой...” – XIII, 66)? Или прав был Ю. М. Лотман и на самом деле не обошлось без французских поэтик XVIII века? Или был ещё какой-то дополнительный источник, который смодулировал мысль Байрона? Ответ на эти вопросы имеется – очень простой и поучительный в своей закономерности.

Тема “Пушкин и Байрон” разрабатывается с появления первых рецензий на “Кавказского пленника”; за более чем полтора века написаны десятки работ, высказано множество соображений разного толка, накоплена масса наблюдений, выявлено огромное количество параллелей

лей и реминисценций, явных и скрытых цитат. Однако всё это время нарушался принцип филологической точности, и поэтому некоторые важные детали остались нераскрытыми. Все занимавшиеся этой темой, кроме В.В. Набокова и Джона Гаррарда, читали и цитировали Байрона по-английски (в худшем случае, в русском переводе!), все сопоставления проводились между текстом Пушкина и английским подлинником. Между тем, и на юге, и в Михайловском Пушкин читал Байрона в французских переводах и лишь в самом начале, в Гурзуфе (а может быть, и на Кавказе) в 1820 году, в какой-то мере, кажется, познакомился с помощью Н.Н. Раевского-сына с подлинником не то “Корсара”, не то “Гяура”, о чём до нас дошли очень неопределённые сведения. Именно через французские переводы Пушкин воспринимал идеи, образы и художественные приёмы новаторской поэзии Байрона. В этих переводах находятся ответы и на поставленные выше вопросы.

Байроновские “I’ve half a mind to tumble down to prose” (“Верро”, ЛП) и “If ever I condescend to prose” (“Don Juan”, I, 204) французский переводчик передал соответственно: “...je suis presque tenté de redescendre à la vile prose...” и “Si jamais je descends jusqu’à la vile prose...” (Oeuvres complètes de Lord Byron/Trad. de l’anglais par A.E. Chastopalli [A. Pichot et Eusèbe de Salle]. Paris, 1820. Т. 2. Р. 282, 161), что, если бы не эпитет “vile”, точно соответствовало бы английскому подлиннику. Спектр значений этого прилагательного допускает его перевод на русский язык обоими пушкинскими определениями прозы: и “презренная”, и “смирренная” (в смысле *скромная, простая, непритязательная* – Словарь языка Пушкина. М., 1961. Т. IV. С. 218). Вставляя его в перевод, французский литератор не придавал ему, видимо, уничижительного оттенка, но употребил лишь для усиления действия “нисходить”, выраженно-го глаголом. В подтверждение этой догадки можно сослаться на строфу LXXIX поэмы “Бешпо”, где Байрон, объясняя, что у него есть особые причины благодарить бога за невежество его героев, обещал их изложить в прозе:

And as, perhaps, they would not highly flatter,
I’ll keep them for my life (to come) in prose...

(перевод: “Но они могут показаться не очень приятными, поэтому я придерживаю их на будущее в прозе”). В этом случае оттенок “нисхождение” отсутствует, и переводчик обходится без вставляемого им в других случаях эпитета “vile”: “...je me réserve de les faire connaître un jour lorsque j’écrirai en prose...” (Oeuvres complètes de Lord Byron. Т. 2. Р. 293; перевод: “я оставляю за собой познакомить с ними позднее, когда буду писать прозой”).

Если французский эпитет не нёс в себе оценки прозы в литературно-теоретическом аспекте или она присутствовала в крайне ослабленной

степени, то не приобрёл ли он дерогативного значения в восприятии Пушкина, употреблявшего, как видно из приведённых примеров, его русские соответствия (“презренная”, “смирренная”) и без глаголов “низойти” или “унизиться”? Н.О. Лернер, Б.М. Эйхенбаум, Д.Д. Благой, Л.С. Сидяков, П. Дебрецени и др. убедительно показали, что проза была для Пушкина иной, нежели поэзия, формой художественной речи, иным “типом мирозерцания, отношения к реальной жизни, восприятия объективного мира” (Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). М., 1967. С. 229), что подсказало ему известную антитезу в “Евгении Онегине”:

Волна и камень,
Стихи и проза, лёд и пламень
Не столь различны меж собой. (VI, 37)

В 1820-е годы занятия прозой мыслились Пушкиным, как видно из его писем, родом творчества, несовместным с поэтическим и возможным только в промежутках, когда последнее временно затухало. Подобное отношение к прозе должно было бы, кажется, служить предпосылкой для формирования взгляда на неё как на “презренную” и “смирненную”. Но параллельно для Пушкина было характерно чёткое понимание насущной и важнейшей для русских писателей задачи – создания художественной прозы и “метафизического”, как он называл, “ясного, точного языка прозы (...) языка мыслей” (письмо П.А. Вяземскому от 13 июля 1825 года; XIII, 187), на котором могли бы говорить по-русски “учённость, политика и философия” и за отсутствием которого, сетовал он, приходилось “даже в простой переписке (...) *создавать* (курсив Пушкина. – В.Р.) обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных...” (“(Причинами, замедлившими ход нашей словесности...)”, 1824; “О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова”, 1825; XI, 21, 34). Первые замечания Пушкина по этому вопросу относятся уже к 1822 году, и на их фоне уничижительные эпитеты не могут быть приняты в буквальном их значении как выражение твёрдых эстетических представлений, но становятся всего лишь заимствованными у Байрона атрибутами время от времени надеваемой литературной маски, представляющей “остепеневшегося” и лишившегося вдохновения поэта, опускающегося до ранее презираемого им занятия – сочинения прозы.

Эту маску, в которой он чем-то был похож на Дениса Давыдова, им же осыпанного упрёками в послании 1821–1822 годов, Пушкин примерял на себя, например, в одном из черновых вариантов строфы XVII второй главы “Евгения Онегина”, где тоже прослеживается отголосок выпада Байрона по адресу “прозаических поэтов”, увлекающихся белилым стихом:

Уж я не тот [игрок нескромный]!
 Вверяясь [ветреной мечте]
 Не ставлю грозно карте темной
 Заметя тайное *руте*
 [Мелок оставил я] в покое –
Атанде слово роковое
 Мне не приходит на язык
 От рифмы тоже я отвык
 Что буду делать между нами
 Всем этим утомился я
 На днях попробую, друзья,
 Заняться белыми стихами... (VI, 281–282; курсив Пушкина. – В.Р.)

Ещё раз появился Пушкин в этой маске в строфах XLIII–XLV шестой главы:

Лета к суровой прозе клонят,
 Лета шалунью рифму гонят,
 И я – со вздохом признаюсь
 За ней *ленивой* волочусь. (VI, 135)

Эти строки были написаны 10 августа 1827 года в разгар работы над “Арапом Петра Великого”, между его черновиками, и содержат явную автореминисценцию стихов 17–20 послания “Дельвигу” (“Друг Дельвиг, мой парнасский брат...”) более чем шестилетней давности (23 марта 1821 года):

К неверной Славе я хлдею;
 И по привычке лишь одной
Лениво волочусь за нею,
 Как муж за гордою женой. (II, 168)

В.В. Набоков счёл необходимым в комментарии к “Евгению Онегину”, разбирая стих “А волочился как-нибудь...” (гл. IV, строфа 10), объяснить английским читателям непередаваемый в переводе смысловой оттенок, отличающий русский глагол “волочиться” от «более или менее эквивалентных ему английских оборотов “to dangle after petticoats” (бегать за юбками), “to dally with” (флиртовать), “to court a woman” (ухаживать за дамой) и т.п.»: «В нём больше от “тащить себя”, нежели от “тянуть себя”; ведь на самом деле он образован от глагола “влачить”, “волочить”, означающего “тащить по земле»» (Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Пер. с англ. СПб., 1998. С. 350). В послании “Дельвигу” этот оттенок чувствуется отчётливо. Такое же различие имеется между “волочиться” и французским глаголом “courir après quelqu’un” (гоняться за кем-либо), которому русский является принятым соответствием (но отнюдь не точным эквивалентом). Тонкие расхождения в спектре значений и позволили Пушкину при буквальном переводе французского словосочетания “courir après la gloire” (гнаться за славой) создать комически

окрашенный и сочно выразительный галлицизм “волочиться за славою”. Именно глагол “courir après” употребил французский переводчик в строфе LII “Беппо” для байроновского “I <...> take for rhyme, to hook my rambling verse on” (см. выше): “Je cours après les rimes pour y ajuster mes vers divagans” (Oeuvres complètes de Lord Byron. Т. 2. Р. 282; перевод: “Я гоняюсь <волочусь> за рифмами, чтобы ими соединить мои разбредаящиеся стихи”). Поскольку эта фраза находится в той же строфе “Беппо”, где говорится об искушении опуститься до презренной (vile) прозы, то есть основание в пушкинских вздохах по поводу того, что он всё ленивей волочится за рифмой, не только видеть автореминисценцию послания “Дельвигу”, но и слышать наложившийся на неё байроновский мотив, воспринятый через исполнение французского переводчика.

Санкт-Петербург





“И ВСЯ МОЯ МОЛОДОСТЬ ПРОШЛА С НИМ...”

Т.А. ИВАНОВА,
кандидат филологических наук

Отвечая на вопрос анкеты парижской газеты “Возрождение” (1926. № 373. 10 июня) о влиянии Пушкина на его творчество, И.А. Бунин писал: «Подражал ли я ему? Но кто из нас не подражал? Конечно, подражал и я, – в самой ранней молодости подражал даже в почерке. Потом явно, сознательно согрешил, кажется, только раз. Помню, однажды ночью перечитывал (в который раз?) “Песни западных славян” и пришёл в какой-то особенный восторг. Потушив огонь, вспомнил, как год тому назад был в Белграде, как плыл по Дунаю, – и стали складываться стихи “Молодой король”: То не красный голубь метнулся...» (Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 454–455).

Конечно, стихотворение “Молодой король” (1916), как признался сам Бунин, написано им под влиянием чтения Пушкина. Однако вряд ли это простое подражание, скорее стилизация, созданная Буниным на основе пушкинского цикла “Песни западных славян”, который, в свою очередь, представляет стилизацию народных песен известной мистификации П. Мериме.

Все остальные стихотворения Бунина были, по его словам, “уже не подражания, а просто желание, которое (он. – *Т.И.*) страстно испытывал много, много раз в жизни, желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, желание, происходящее от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых (пушкинских каких-то) настроений, что Бог порою давал в жизни” (Бунин И.А. Указ. собр. соч. Т. 9. С. 455). Вот эти стихотворения: “Дикий лавр, и плющ и розы...” (“У гробницы Вергилия”); “Монастыри в предгорьях глухих...” (“В Сицилии”); “Помпея! Сколько раз я проходил...” (“Помпея”); “Вдали темно и чащи строги” (“Псковский бор”); “Вот этот дом, сто лет тому назад...” (“Дедушка в молодости”). И все они, навеянные творчеством Пушкина, были написаны Буниным в 1912–1916 годах, то есть вполне зрелым поэтом. (Попутно напомним, что интервью Бунина газете “Возрождение” – “Думая о Пушкине” – в несколько изменённом и слегка сокращённом виде вошло в роман “Жизнь Арсеньева”, в котором чувства и мысли, испытанные некогда молодым писателем, приписаны его юному герою.)

Корпус юношеских стихотворений Бунина, в которых отразилось подражание Пушкину, давно установлен и опубликован в 84-м томе “Литературного наследства” (М., 1973. Кн. 1, 2; далее – только Кн. и стр.). Так, в стихотворении, напечатанном под № 2, легко обнаруживаются мотивы пушкинского “Я помню чудное мгновенье...”. Оно и начинается совершенно по-пушкински:

То было чудное мгновенье!... (<...>
Моя душа тогда просила
Восторгов, радостей, любви,
И в ожиданьи их уныло
Тянулись тихо дни мои... (1, 233)

Стихотворение № 31 – явное подражание “На холмах Грузии лежит ночная мгла...”:

На воды сонные туман неясный лёг;
Вечерняя звезда на запад выплывает...
Над прудом я сажу... Ни дум и ни тревог...
Душа моя светла и сладко отдыхает... (1,249)

А стихотворение № 28 даже заканчивается прямой цитатой из того же стихотворения Пушкина:

Но не могу забыть лишь одного, –
Мне ревность сердце тихо, тихо гложет,
И “сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оно не может”... (1,247)

Большинство этих произведений при жизни Бунина не были опубликованы. А те из них, которые увидели свет на страницах иллюстриро-

ванного еженедельника “Родина” (№ 22 и 51), автор не включал в свои поэтические сборники.

Кроме того, среди ранних бунинских стихотворений имеются два, обращённые непосредственно к Пушкину и посвящённые памятным датам, связанным с его именем. Первое (№ 18) – “К портрету А.С. Пушкина (50-й год со дня кончины)”. Второе (№ 93) – “26-е мая” – было написано к столетнему юбилею поэта по заказу издателя “Журнала для всех” В.С. Миролюбова (1899. № 5. Стлб. 525–526).

Однако впоследствии Бунин ни разу его не публиковал. Но сегодня, сто лет спустя, в “дни славы Пушкина”, нарушая, возможно, волю поэта, считаем уместным познакомить с ним читателя:

26-е мая

Поэт нам дорог тем, что он
О счастья нам напоминает
И сумрак жизни озаряет,
Как солнце хмурый небосклон.

Дни славы Пушкина – желанный
И светлый праздник. Сколько раз
Его мечты во мгле туманной,
Как солнце, радовали нас!

И этот миг, когда венчает
Его вся Русь, – ещё тесней
С его душою нас сближает
И в жизнь, и в счастье, и в людей
Нам веру гордую вселяет! (1,283)

В поэтическом наследии Бунина есть ещё одно стихотворение, непосредственно связанное с творчеством Пушкина. Это – “Подражание Пушкину”. Написанное в 1890 году двадцатилетним поэтом, оно увидело свет в сборнике “Листопад” (М., 1901. С. 115), то есть более чем через десять лет после написания. Эта публикация имела две важные особенности: во-первых, – отсутствовало заглавие, во-вторых, что тоже существенно, – иной вариант начального стиха первой строфы: “От мертвой скучной лжи, от суетных забав...”

Последующие изменения, внесённые Буниным при подготовке к “Полному собранию сочинений” (Пг., 1915. Т. I. С. 52), безусловно, свидетельствуют о совершенно сознательном отношении поэта к тексту этого стихотворения. Поэтому остаётся загадочным и необъяснимым сам факт умолчания о нём в эссе “Думая о Пушкине”. Тем более, что в дальнейшем Бунин включал его во все собрания своих сочинений. Известно о чрезвычайной требовательности поэта к собственному творчеству. Сохранились, например, его запретительные пометы на некоторых страницах I тома “Полного собрания сочинений” (Пг., 1915) при подготовке к изданию 1952 года. Так, в подборке “Из юношеских стихотворений” перечёркнутое стихотворение “Поэт” было сопровожде-

но примечанием. Приводим его с сохранением орфографии Бунина, считавшего современной нашу орфографию “окаянной”: “16 дек. 1952 г. Париж. Зачеркнутое не вводить в будущее собрание моих сочинений, даже самое полное. Ив. Б.”(1,243). Напомним читателю строки “Подражания Пушкину”:

От праздности и лжи, от суетных забав
Я одинок бежал в поля мои родные,
Я странником вступил под сень моих дубрав,
Под их навесы вековые,

И, зноем истомлён, я на пути стою
И пью лесных ветров живительную влагу...
О, возврати, мой край, мне молодость мою,
И юный блеск очей, и юную отвагу!

Ты видишь – я красы твоей не позабыл
И, сердцем чист, твой мир благословляю...
Обетованному отеческому краю
Я приношу остаток гордых сил.

Формальные особенности этого произведения вполне пушкинские. Написанное излюбленным пушкинским размером – неравностоппным ямбом, оно состоит из трёх строф, четверостиший. Подобная строфика присуща многим стихотворениям Пушкина. Таковы его “Возрождение” (“Художник-варвар кистью сонной...”), “Узник” (“Сижу за решёткой в темнице сырой”), “Буря” (“Ты видел деву на скале...”), “Ангел” (“В дверях эдема ангел нежный...”) и мн. др. При этом Пушкин обычно использует схему рифмовки только перекрёстными рифмами (авав). Однако и у него, как у Бунина, в последней, завершающей строфе находим рифмы опоясывающие (авва). Например, в стихотворениях “Желание” (“Медлительно влекутся дни мои...”) и “Приметы” (“Я ехал к вам: живые сны...”).

Наконец, обращает на себя внимание использование Буниным в первой строфе его “Подражания...” частотной пушкинской рифмы *забава – дубрава*. Ср. у Пушкина:

Простите, верные *дубравы*!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые *забавы*
Столь быстро улетевших дней!

И страждут озими от бешеной *забавы*,
И будит лай собак уснувшие *дубравы*.

В тени хранительной *дубравы*
Он разделял её *забавы*...

Лексический состав “Подражания Пушкину” вполне соответствует словоупотреблению самого классика, в чём легко убедиться, сверив-

шись с данными “Словаря языка Пушкина” (М., 1957. Т. I–IV). В этом Словаре отсутствует лишь одно слово, употреблённое Буниним, а именно глагол *истомити* в форме краткого страдательного причастия прошедшего времени: “И, зноем *истомлён*, я на пути стою...”.

Вместе с тем синтаксическая конструкция, в которой употреблён этот глагол, не чужда словоупотреблению Пушкина. Ср. в “Пророке” и “Евгении Онегине”:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влячился...

Уж он, раскаяньем томим,
Готов просить у ней прощенье...

В тех же случаях, когда Бунин обращается к пушкинскому словоупотреблению, он использует его творчески, добиваясь при этом максимальной художественной выразительности. Так, Пушкин часто употреблял эпитет *суетный*. У него находим *суетную молву* (“Евгений Онегин”), *суетную работу* (“Друзья”), *суетный свет* (“Поэт”), *суетное прозвание* (“Желание славы”), *суетные оковы* (“Деревня”) и др. Таким же частотным у Пушкина было и слово *забавы*. Они у него были “разные”: и *младенческие* (“Евгений Онегин”), и *юные* (“К Чаадаеву”), и *лицейские* (“19 октября”), и *парнасские* (“К Шишкову”), и *легкокрылые* (“Простите, верные дубравы!..”) и т.д. У Бунина происходит соединение этих двух частотных слов, – и появляются вполне пушкинские “суетные забавы”. Нечто подобное находим и в последнем стихе второй строфы:

О, возврати, мой край, мне молодость мою,
И юный блеск очей, и юную отвагу!

Здесь, подобно Пушкину, Бунин прилагательное *юный* употребляет как в значении “молодой” – *юные очи*, так и в значении “присущий молодости” – *юная отвага*.

Заметим, что в “Словаре языка Пушкина” в статье на слово *блеск* составители специально отмечают значение “сверкание”: “о глазах: блеск очей небесный” (Т. I. С. 134). У Бунина это словосочетание получает выразительно уточняющее инверсированное определение: “юный блеск очей”. Действительно, *сверкающие очи* могут быть только *юными*. А “юная отвага” лишь модифицирует пушкинскую “отвагу юных дней” (“Предчувствие”).

Таким образом, в “Подражании Пушкину” отсутствует конкретная связь с каким-либо определённым стихотворением поэта, как это было в иных подражательных стихах юного Бунина, о чём уже было упомянуто. Вместе с тем оно как бы выражает сокровенное желание Бунина “написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное...”

В заключение обратимся к заглавию, которое, как уже говорилось, в первой публикации стихотворения в сборнике “Листопад” отсутствовало. Оно было дано Буниным в 1915 году, когда поэт находился в зрелом возрасте и сам писал “прекрасное, свободное, стройное” уже побунински. (Недаром в 1909 году он был удостоен избрания почётным членом Российской Академии Наук. Откликаясь на это событие, критик А.А. Измайлов в газете “Русское слово” писал: “Конечно, как поэта венчает Ивана Алексеевича Бунина Академия”). Как справедливо заметила Т.Г. Динесман, “это заглавие имеет глубокий и многозначный смысл” (2, 136). От себя добавим, что оно выразительно и многозначно. Уже само слово *подражание* недвусмысленно говорит о том, что стихотворение написано “в духе пушкинской поэзии”. Вынесенное же в заглавие, оно ещё более подчёркивает особую художественную или нравственную исключительность образца подражания. Ср. у Пушкина “Подражания Корану”, у Лермонтова “Подражание Байрону”, у Некрасова “Подражание Шиллеру”.

Думается, что никто, кроме Бунина, не смог так *знаково* оценить творчество Александра Сергеевича Пушкина.

Санкт-Петербург

Два “Макара” двух А. Платоновых

О.А. ЛЕКМАНОВ,
кандидат филологических наук

*О, как противен мне какой-то со-
именник,
То был не я, то был другой.*

Осип Мандельштам

В известном справочнике И. Владиславлева повесть Андрея Платонова “Епифанские шлюзы” была приписана Платонову Алексею (см.: Владиславлев И.Р. *Литература великого десятилетия. 1917–1927. М.-Л., 1928. Т. I. С. 195*).

В пятом, майском номере журнала “Новый мир” за 1929 год был опубликован рассказ Алексея Платонова “Макар – карающая рука”. В десятом номере “Октября” за этот же год появился рассказ Андрея Платонова “Усомнившийся Макар”.

Чрезвычайно соблазнительно было бы предположить, что Андрей Платонов, по понятным причинам заинтересовавшийся произведением своего однофамильца, решил затем развить тему рассказа “Макар – карающая рука”, создав собственную его вариацию. Такое предположение не выглядит вовсе беспочвенным. У обоих писателей в центре повествования оказывается простоватый с виду мужик Макар, который, тем не менее, бесстрашно борется с засильем советской бюрократии: «И когда ему прислали назначенных “в помощь” юристов, он не поладил с ними, потому что не верил их правде» (Платонов А. Макар – карающая рука // Новый мир. 1929. № 5. С. 55); «Над второй же дверью висел краткий плакат “Кто кого?”, и Пётр с Макаром вошли туда. В комнате не было никого, кроме тов. Льва Чумового, который сидел и чем-то заведовал, оставив свою деревню на произвол бедняков. Макар не испугался Чумового и сказал Петру: – Раз говорится “кто кого?”, то давай мы его...» (Платонов А. Усомнившийся Макар // Платонов А. Государственный житель. Проза. Ранние сочинения. Письма. М., 1988. С. 106).

Оба Макара в своей борьбе ориентируются на две путеводные звез-

ды. Это, во-первых, – безошибочное классовое чутьё: “Макар старался пытливым взором проникнуть в зрачки людей (...) Тогда приходит решение. Его приносит Макару сам подсудимый правдой собственных глаз” (Платонов А. Макар – карающая рука. С. 55); “С тех пор Макар и Пётр сели за столы против Льва Чумового и стали говорить с бедным приходящим народом, решая все дела в уме – на базе сочувствия неимущим” (Платонов А. Усомнившийся Макар. С. 107). И, во-вторых, возвращение к “ленинским нормам”, верность ленинским заветам: “Ленина в их глазах я не вижу” (Платонов А. Макар – карающая рука. С. 33); “– Наши учреждения – дермо, – читал Ленина Пётр а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина” (Платонов А. Усомнившийся Макар. С. 106). Отметим попутно, что образ Ленина занимает весьма значительное место в произведениях Андрея Платонова конца 1920-х годов. Так, описание могилы девочки Насти, которым завершается платоновский “Котлован”, по-видимому, провоцирует внимательного читателя вспомнить о ленинском мавзолее: “В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу. Он рыл её пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в неё не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ребёнка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли” (Платонов А. Котлован // Платонов А. Государственный житель. Проза. Ранние сочинения. Письма. С. 197); ср. в “Котловане” несколькими страницами ранее: “– Врёшь, – упрекнул Жачев, не открывая глаз. – Марксизм всё сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждёт – воскреснуть хочет” (Там же. С. 183).

Можно, наконец, обратить внимание на то, что заглавие рассказа Андрея Платонова вполне подошло бы для рассказа Алексея Платонова и наоборот. У Алексея Платонова как раз сомнения в собственной правоте, впервые посетившие негибавшего Макара, стали основой для развития сюжета. А у Андрея Платонова напротив, подробно описано пробуждение классовой злости (“... давай мы его...”) в кротком до поры до времени Макаре Ганушкине.

Следует однако учесть распространённость перечисленных мотивов в советской литературе 1920-х годов, а имени Макар – в советском и русском быту. Так что настаивать на своей версии мы не станем, а лучше повторим вслед за великим востоковедом В.К. Шилейко: “Область совпадений столь же огромна, как и область подражаний и заимствования” (цит. по: Ахматова А. Поэма без героя. М., 1989. С. 224).

ЧЕТЫРЕ СКРИПКИ

О.П. ПОПОВ

Четыре струны на деревянном корпусе – вот и всё. А какое разнообразие и выразительность звуков! Недаром, желая показать силу музыки, Лев Николаевич Толстой выбрал скрипача и скрипку. Но за тридцать лет до его “Крейцеровой сонаты” другой Толстой, Алексей Константинович, сказал о том же в стихотворении “Он водил по струнам; упали...” Причём обоих Толстых вдохновила игра одного и того же скрипача – Рафаэля Кизеветтера. Видно, было в его игре что-то колдовское.

В стихотворении А.К. Толстого: скрипач и слушатель. Скрипач возбуждён:

... упали
Волоса на безумные очи...

В звуках его скрипки

рассказ убедительно-лживый
Развивал невозможную повесть,
И змеиного цвета отлив
Соблазняли и мучили совесть...

Слушатель поддаётся этим соблазнам, музыка захватывает его и влечёт:

...бессильная воля боролась
С возрастающей бурей желанья, (...)
И так билось сердце тревожно,
Так ему становилось понятно
Всё блаженство, что было возможно
И потеряно так невозвратно,
И к себе беспощадная бездна
Свою жертву, казалось, тянула...

Слушатель был жертвой. А что же чувствует сам музыкант, **очи** которого становятся безумными? Об этом сказал Николай Гумилёв, оставивший в “Волшебной скрипке” только скрипача. Музыканта колдовская сила музыки тянет в “беспощадную бездну” ещё сильнее, чем слушателя, пробуждает в нём “тёмный ужас зачинателя игры”, игры опасной и даже роковой.

Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.
Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок...

Остановиться нельзя, скрипка этого не простит:

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервётся пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, –
Тотчас бешеные волки в кровожадном иступленьи
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Конец ясен: “И погибни славной смертью – страшной смертью скрипача!”

Конечно, мы догадываемся, что здесь говорится не только о скрипке. Талантливому человека его искусство затягивает с удивительной силой. Он может терпеть неудачи, впасть в бедность, но не уйдёт с избранного пути. Иногда спивается, даже сходит с ума, кончает жизнь самоубийством. Примеров много, лучше их не вспоминать. Но не будем уходить от темы, примем, как говорится, правила игры: скрипка так скрипка. Как и в стихотворении “Смычок и струны” до сих пор неоцененного Иннокентия Анненского, учителя Гумилёва и Ахматовой. В его стихотворении и скрипача нет, только скрипка и смычок:

И вдруг почувствовал смычок,
Что кто-то взял и кто-то слил их. {...}
И струны ластились к нему,
Звеня, но, ластясь, трепетали.

“Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? довольно?...
И скрипка отвечала да,
Но сердцу скрипки было больно.

Смычок всё понял, он затих,
А в скрипке эхо всё держалось...
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.

Что же дальше? Убрать и скрипку, оставить только звуки, внушающие тёмный ужас, мучающие и слушателя, и скрипача, и скрипку? Но ведь есть же и другая музыка, светлая и добрая, и её услышал Булат Окуджава:

Музыкант играл на скрипке – я в глаза ему глядел.
Я не то чтоб любопытствовал – я по небу летел.
Я не то чтобы от скуки – я надеялся понять,
как способны эти руки эти звуки извлекать
из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил...

Скрипке отведено последнее место, поэт обошёлся с ней слишком

сурово, а ведь и она сделана руками талантливого мастера. Но для Окуджавы здесь важно другое: “Надо в душу к нам проникнуть и поджечь”. И скрипка в конечном счете всё-таки не просто “деревяшка”:

Счастлив дом, где голос скрипки наставляет нас на путь
и вселяет в нас надежды... Остальное как-нибудь.
Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу,
по чьему благословиению я по небу лечу.
Счастлив он, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остёр –
музыкант, соорудивший из души моей костёр.
А душа, уж это точно, ежели обожжена,
справедливей, милосерднее и праведней она.

Вот и возвратилось настоящее призвание музыки – возвышать нас, делать проще, благороднее, справедливее. И возвратил такое понимание музыки добрый, благородный поэт Булат Окуджава.

Эти четыре поэта и четыре скрипки явились ко мне в одну из бессонных ночей. Не могу утверждать, что кто-то из этих поэтов выше других, все они настоящие, большие таланты. А.К. Толстой был, вероятно, первым, открывшим эту труднейшую тему. “Волшебная скрипка” Гумилёва самая напряжённая, её струны раскалены докрасна. Самое строгое и гармоничное стихотворение – “Смычок и струны” Анненского. А самое близкое мне и, кажется, самое человеческое – Окуджавы. Он убеждён, что главное назначение музыки – зажигать в душах не злое, не тоскливое пламя, а доброе. Иначе не могло быть, таков сам Окуджава, таким был и легендарный музыкант Орфей. Как хорошо, что жил с нами этот поэт с обожжённой душой! Как больно, что его не стало. И всё-таки “эхо” его скрипки – его стихов продолжает звучать, обжигая чьи-то души.

*Семибратово,
Ярославской области*



После смерти Н.В. Гоголя

Из дневника Ф.И. Буслаева

*Кто после моей смерти вырастет
выше духом, нежели как был при
жизни моей, тот покажет, что он,
точно, любил меня и был мне дру-
гом, и сим только воздвигнет мне
памятник.*

Н.В. Гоголь. Завещание

Видный русский филолог и историк искусства Фёдор Иванович Буслаев (1818–1897) с юности и до последних лет жизни вёл дневники, всегда подробные, аналитические, чаще домашние, а иногда и путевые. Приходится сожалеть, что множество драгоценных записей учёного не опубликовано и поныне; однако и то, что всё-таки предано гласности, отнюдь не безукоризненно с археографической точки зрения. Есть и ошибки публикаторов в прочтении отдельных слов (почерк у владельца дневника был прямо-таки ужасающим), случаются и нарочитые купюры, пропуски тех или иных мемуарных фрагментов, подчас весьма важных, но... Но противоречащих, как принято считать, этическим нормам. Кто и когда устанавливал такие нормы – неведомо, зато достоверно известно, что границы их размыты и крайне субъективны, декларируемая этика то и дело подменяется циничным ханжеством, а в итоге страдает наука, упрощается и опошляется наш взгляд на прошлое, которое зачастую оборачивается приторным и лживым лубком.

Спору нет – проблема эта сложна, многогранна, не поддаётся однозначному решению. Кроме того, существует и опасность археографической вседозволенности, беды ещё более разрушительной. Поэтому в каждом конкретном случае должно принимать своё решение, честное и мужественное, единственно верное. Данное назидание не исключает,

однако, и возможности типовых подходов к архивным документам. Бывают ситуации, сомнительные или пикантные, когда нужно призвать на помощь знаменитые пушкинские слова, произнесённые накануне дуэли, – и сомнения архивиста рассеются. Вспомним эту фразу: “Если кто-нибудь сзади плюнет на моё платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не моё”. Вот в чём суть: *такая* грязь не порочит гения, не вынуждает его оправдываться. Она лишь характеризует, причём исчерпывающе, навечно, стоящего позади и действующего исподтишка. И тогда ещё зримее становится разница между поэтом и чернью, между гением и злодейством. По нашему глубокому убеждению, о *таких* плевках писать и можно, и должно. Да и деваться некуда: плевки – вечные спутники истории русской литературы. Речь идёт, разумеется, о правдивой, неотретушированной истории.

Вышесказанное вполне применимо и к дневниковым записям Ф.И. Буслаева о кончине Гоголя. Казалось бы, эти заметки, доверенные бумаге почти тотчас же после скорбных событий 1852 года, давно и не раз опубликованы. Но при ближайшем рассмотрении архивного оригинала обнаруживаются многозначительные пропуски в публикациях. Да и сама повесть о публикациях буслаевского текста занимательна и кое в чём поучительна.

Первым издателем записей был сам автор дневника. В 1863 году Ф.И. Буслаев напечатал в журнале “Современная Летопись” (№ 42. С. 6–7) рассказ актёра М.С. Щепкина о встрече и беседе с Гоголем. Учёный воспроизвёл его почти дословно по дневнику, но прочих событий и суждений, некогда им зафиксированных, практически не коснулся. А если где-то и упомянул о них вскользь – то глухо, завуалированно, в высшей степени деликатно. Так, почти неузнаваемым стал в журнальной публикации о. Матвей Константиновский, оказавший столь сильное влияние на писателя в предсмертные годы. Ещё труднее было распознать читателю Александру Осиповну Смирнову-Россет (тогда ещё здравствовавшую) – вместо пушкинской приятельницы и опекуни Гоголя перед публикой предстала некая аморфная “усердная дама”, “благочестивая особа”, лишённая своеобразия. Спустя два десятилетия Ф.И. Буслаев перепечатал свою сглаженную и сокращённую версию (Буслаев Ф.И. Мои досуги: В 2 т. М., 1886. Т. 2), придав ей тем самым как бы канонический вид. На авторскую волю и стали ориентироваться впоследствии: так, например, поступил внук М.С. Щепкина (Михаил Семёнович Щепкин. 1788–1863. Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии и родословная. СПб., 1914. С. 346–347), а вслед за ним – советские исследователи (см. например: Михаил Семёнович Щепкин. Жизнь и творчество: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 310–312).

Последние, однако, не всегда ограничивались буслаевским печатным вариантом. Однажды дело сдвинулось-таки с мёртвой точки. В.А. Громов опубликовал в пятом выпуске “Тургеневского сборника”

(Л., 1969) статью “Гоголь и Тургенев”, куда включил и неизвестные цитаты из дневниковых записей. Публикатор ввёл в оборот сведения и об А.О. Смирновой-Россет, и о Ф.В. Булгарине, и о славянофилах, но основное внимание уделил эпизоду со статьёй И.С. Тургенева и последующим арестом автора “Отцов и детей”, придав таким образом своему сообщению столь обыденный для советской эпохи остросоциальный оттенок. Не исключено, что это была неизбежная дань цензуре. Можно также предположить, что дань не единственная.

Ибо за пределами публикации в “Тургеневском сборнике” и на сей раз осталась часть буслаевского текста. Выпали пресловутые плевки современников Гоголя. А без них, без этих не слишком галантных высказываний, трудно представить подлинные масштабы духовной драмы писателя.

Неудобоваримые высказывания разнообразны по форме, но родственны по сути; иногда они анонимны и отражают, так сказать, общественное мнение, порою же имеют вполне определённого родителя. Тут и городские слухи о том, что покойный автор “Мёртвых душ” себя запостил (читай: помешался), и непригожие в дамском обществе слова профессора И.М. Снегирёва, и беспардонные сентенции изысканного И.С. Тургенева, и подленькие заключения “некоторых медиков”. Конечно, впечатление по прочтении складывается тягостное. Так и хочется повторить вслед за Ф.И. Буслаевым: “Ух – гадко!”, захлопнуть крышку дневника и сделать вид, что не было в документе *таких* фраз, что непревзойдённого Гоголя если и не любили, то разве что городничие, полицейские чины, помещики средней руки да цензоры. Увы, – и не любили, и не понимали его повсюду в империи, а зубоскалили и издевались над писателем в первую очередь те, кого принято величать кумирами прогрессивного лагеря. И закрывать на это глаза, подчищать архивные документы – значит принимать сторону хулителей *позднего* Гоголя, Гоголя времён “Выбранных мест из переписки с друзьями”.

Дано ли будет нашим свободолюбцам и западникам запоздалое прозрение, сумеют ли эти просвещённые умы переступить через себя и признать очевидное: “Выбранные места...” – вовсе не неудача, не падение писателя, а вершина, последняя и высочайшая вершина его творчества, величественное завещание любезным соотечественникам и их потомкам. Парадокс: не жаловали и по-прежнему не жалуют либералы Белинского со товарищи, не рукоплещут они и “Письму к Гоголю”, но и самого Гоголя-проповедника на дух не выносят. Так и мечутся они испокон веку промеж берегов, и дрейфуют бесцельно и громко, не в силах отыскать нужную гавань, прикипеть к какой-либо основополагающей идее. А ведь идея Гоголя, пусть и сформулированная местами по-детски наивно, – именно такая, исконно русская, глубокая и предельно искренняя. Это и прощание, и страстная проповедь, и заклинание, и

предупреждение. Изучая современную жизнь, Гоголь смотрел в даль, в будущее, и провидел впереди нечто страшное, приближающееся, уже обволакивающее Россию, но пока ещё не ощущаемое и не осязаемое соплеменниками. Он признавался: “Сердце моё говорит, что книга моя нужна...” А выходило, что большинству читателей проповедь Гоголя была, по меньшей мере, безразлична, и не тревожили беспечное большинство ни разверзающиеся дали, ни разрывающееся от дурных предчувствий гоголевское сердце. Да и какое уж там сердце – люди и людишки середины XIX века предпочитали смотреть много ниже и вычитывать из творений художника лишь чудачество, мракобесие, извращения и “тьму низких истин”, низких в самом прямом и скабрёзном смысле слова. Даже смерть Гоголя не заставила их приумолкнуть – напротив, она словно подхлестнула воображение бобчинских, добчинских и иже с ними...

А спустя четыре года после описываемых событий в далёком австрийском городе Фрайберге появился на свет еврейский мальчик по имени Зигмунд. Мальчик как мальчик, но потом он вырос, окончил университетский курс, стал профессором и прославился на весь мир теорией психоанализа. Повсюду он числился первооткрывателем, творцом нового откровения о человеке. И невдомёк было потрясённому человечеству, что *всё это уже было* и русским быльём поросло, что сей славный метод давно апробирован в дремучей России, что русские предтечи фрейдизма не лыком шиты и уже исхитрились *именно так* трактовать творчество малороссийского литератора Николая Васильевича Гоголя.

Как это выглядело и как смотрелись при этом проницательные интерпретаторы – явствует из дневниковых записей Ф.И. Буслаева, первые публикуемых полностью.

М.Д. Филин

ИЗ ДНЕВНИКА Ф.И. БУСЛАЕВА

1852 г. Марта 19 (5-я неделя Великого Поста, среда). На второй неделе Великого Поста, в четверг утром, умер Гоголь¹. Уже на Маслянице он чувствовал приближение смерти и, говев, причащался на Маслянице в четверг². По Москве носятся слухи, что он себя запостил. М.С. Щепкин сказывал мне, что он заходил к Гоголю, когда тот уже был болен: он его не принял из боязни, чтобы Щепкин, которого он уважал и слушался, не уговорил его подкрепить себя пищею. Один очевидец (Филиппов³) рассказывал мне, что во вторник на Масляницу он видел на станции железной дороги Гоголя, он был в хорошем расположении духа – он тогда провожал знаменитого в этой истории ржевского попа⁴.

Гоголь, будто предчувствуя, завещает не торопиться после его смерти ни хвалою, ни порицанием⁵. Давно ли он умер? Не прошло еще и месяца, а вот уже из-за Гоголя поссорились Хавский с Булгариным, который в ответ на извещение о смерти Гоголя написал грубость, ругая талант Гоголя⁶; поссорилась московская цензура с петербургскою, которая не хотела пропустить письмо Тургенева о смерти Гоголя, письмо весьма приличное, напечатанное потом в “Москов(ских) Ведом(остях)”⁷. Поссорились с университетом славянофилы, которые хотели из университетской церкви или же с квартиры похитить тело Гоголя в приходскую церковь⁸. Глубокомысленный И.М. Снегирёв⁹ по случаю толков о Гоголе с свойственной ему пакостью изволил выразиться: “Оно и точно! Как посмотришь с другой стороны, так что же такого сделал Гоголь? Разве то-то, что показал Европе жопу России, которой он поднял подол”. Явление в наше время характеристическое – что некоторые личности вменяют Гоголю в вину его комическое вдохновение. Лучше бы было, если бы он писал подобно жужжанию так называемой “Пчёлки”¹⁰, известной газеты, и хвалил то, что выставлено в его бессмертных сочинениях достойным посмеяния.

Что сказать о самой смерти Гоголя? До сих пор никак не могу переварить я в своей голове сочетания двух несочетаемых идей – умереть себя постом и умереть как должно христианину, причастившись Св. Тайн. Вот до каких ухищрений дошёл наш век, половина XIX столетия! Если что и вероятнее всего – это запощение произошло вследствие помешательства, то признаю, как тяжело думать, что душа поэта не вынесла той тяжёлой ноши, которую взяла на себя – выставить наши недостатки. Неужели любовь к родине должна была иметь в Гоголе такой роковой исход! А была в нём душа, вовсе не способная к тому, чтобы принадлежать запощеванцу. Замечательный анекдот рассказал мне М.С. Щепкин: «Как-то недавно прихожу к Гоголю¹¹. Он си-

дит, пишет что-то. Кругом на столе разложены книги, все религиозного содержания. “Неужели всё это вы прочли?” – спрашиваю я его. “Всё это надо читать”, – отвечал он. “Зачем же надо? – говорю я. – Так много написано всего для спасения души, а ничего не сказано нового, чего не было бы в Евангелии. А я, признаюсь, думаю, что всего этого написанного слишком много – запутанно”. Тут Гоголь принужденно отшутился, сказав что-то вроде: “Какой шутник!” А я продолжал: “Я и заповеди-то для себя сократил, всего в две: люби Бога и люби ближнего, как самого себя”». Потом, продолжал Щепкин, я рассказал Гоголю следующий случай: «Ехал я из Харькова в то время, как были открыты мощи Митрофания¹². Дай, думаю, заеду в Воронеж, не из набожности, а так, хотелось видеть, сколько может сделать вера человека. Приезжаю в Воронеж. Утро было восхитительное. Я пошёл в церковь. На дороге попался мне мужик с ведром, в ведре что-то бьётся. Смотрю – стерлядь. Думаю себе – Митрофаний ещё подождёт. Сторговал, купил рыбу и снёс домой. Потом пошёл в церковь; дорогою так восхищался природою, как никогда. Было чудесное утро. Прихожу в церковь. Народу множество – и такая преданность, такая вера, что я и сам умилился до слёз – и сам стал молиться: “Господи, Боже мой! Весь этот народ пришёл Тебя молить о своих нуждах, бедах, болезнях, – только я один ничего у Тебя не прошу, и молюсь слёзно! Неужели Тебе нужны, Господи, наши лишения? Ты дал нам, Господи, прекрасную природу – и я наслаждаюсь ею, и благодарю Тебя, Господи, от всей души!”». Тогда, продолжал Щепкин, Гоголь вскочил, обнял меня, вскричал: “Оставляйтесь всегда при этом”...

Мая 24. Кунцево. {...}¹³ В “Северн(ой) Пчеле” в апреле и мае¹⁴ были напечатаны две подлейшие статьи о Гоголе, в которых Гоголя ставят ниже Нарежнова, Дюма, Эжена Сю, Поль де Кока¹⁵! Обе эти статьи стоят в связи с двумя случаями: первая относится к тому времени, когда Тургенев был посажен в часть за то, что отослал в Москву и напечатал в “Моск(овских) Ведом(остях)” статью о Гоголе¹⁶, которую не пропустил в Петербурге Мусин-Пушкин¹⁷ (По этому поводу сочинился каламбур: “Теперь только один литератор в чести (части) – Тургенев”). О статье Тургенева может теперь судить всякий, прочитав в “Моск(овских) Ведом(остях)”. Вторая статья Булгарина направлена на статью И. Аксакова о Гоголе в “Московск(ом) Сборнике” 1852 г.¹⁸, на статью действительно странную, написанную с тою целью, чтобы вдвинуть Гоголя в партию славянофиЛЕИ. Только “Северн(ая) Пчела” эту статью так разобрала, что разбор кажется доносом. Точно так и в первой статье Булгарин доносил на Погодина, что он известие о смерти Гоголя осмелился поместить в своём “Москвитянине”, окружив чёрненькою каёмочкою, намекая, что этой чести удостоиваются особы высшие¹⁹. Удивительно, как сбываются слова Гоголя в его завещании – “не спешите ни хвалою, ни порицанием”. Сколько бед произошло от по-

спешных похвал. Даже цензору был выговор за статью о Гоголе в “Московском Сборнике”.

Но самое ужасное, самое тягостное в потере Гоголя – именно то, что относится к его личному делу, к его страшной борьбе художника с аскетом. Некая Смирнова, у которой Гоголь последние годы своей жизни жил, полагала своей целью убивать в нём художника. Происками её и других он сжигал свои сочинения: так, Смирнова сама признавалась, что Гоголь сжёг несколько пьес вроде “Шинели”. Эта почтенная дама, из лёгкой по поведению²⁰ ставшая, как водится, ханжой в летах зрелых, как нянька взялась за Гоголя, чтоб поддерживать в нём христианина против лукавых впадений²¹ художника. Она запрещала ему наслаждаться даже природою. Так, однажды летом у неё в деревне он читал “Четьи-Минеи” и задумался, да и засмотрелся и увлёкся окрестностями. Тогда эта дама поймала его, как ленивого школьника, на праздной рассеянности, ему стало стыдно, и он принялся за чтение. Тургенев, передававший эти подробности, читал рукописные письма Гоголя к этой даме²², и тяжёлое чувство оставили они в его душе: постоянно имя Бога, постоянно набожность, но ясности, свойственной такому предмету, нет. “Ещё, – прибавлял Тургенев, – во всех письмах Гоголя слышится какое-то смутное чувство, какое-то затаённое признание, как бы сказать, того, что он во всю жизнь свою не имел плотского сочетания с женщиною”.

Эти рассказы о Гоголе напомнили мне 2 случая: отношения его к Щепкину, который так соблазнял Гоголя сочувствием с природою и с искусством, и ещё одну пасквиль, впрочем, искренно, с убеждением признававшуюся у некоторых медиков – будто Гоголь умер от истощения от онанизма.

Ух – гадко! Вот до какого раздвоения дошёл наш пакостный XIX вешишка! Поэт творит превосходные произведения – и потом сам хочет искоренить в себе праздный, лукавый дух поэзии. Г-жа Смирнова хвалилась, что она и её единомышленники неоднократно побуждали Гоголя сжечь “Мёртвые души”, но Гоголь отстаивал, говоря, что здесь главное дело не поэзия, а побеждение поэзии чем-то высшим.

Комментарии

Публикуется по подлиннику (РГАЛИ, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 6, лл. 172 об. – 174 об., 175 об. – 177).

¹ Н.В. Гоголь скончался 21 февраля 1852 года, около 8 часов утра.

² Ср. с рассказом историка М.П. Погодина о посещении Гоголем церкви Саввы Освященного на Девичьем Поле 7 февраля: “В четверг явился Гоголь в церковь ещё до заутрени и исповедался. Перед принятием Св. даров, за обеднею, пал ниц и много плакал. Был уже слаб и почти шатался” (Москвитянин. 1852. № 5. С. 47).

³ *Филиппов Тертый Иванович* (1825–1899) – прозаик, публицист, славянофил, государственный деятель. Через двадцать с лишним лет он описал встречу с Гоголем на станции в петербургской газете “Гражданин” (1874. № 4).

⁴ Речь идёт о ржевском священнике Матвее Александровиче Константиновском (1791–1857), духовном отце Гоголя, которого некоторые современники считали “образцом строгой христианской православной жизни”. Его сильнейшее влияние на писателя в последний период жизни несомненно; кто-то даже утверждал, будто чрезмерная суровость о. Матвея, который, в частности, потребовал от Гоголя отречься от Пушкина, “грешника и язычника”, и приблизила кончину автора “Мёртвых душ”. Т.И. Филиппов, например, так сформулировал свой взгляд на проблему: “Имело ли последнее свидание Гоголя с о. Матвеем влияние на его предсмертное настроение, сказать наверное не могу; но считаю его весьма вероятным, сопоставляя роковой случай с другими ему подобными, в которых такого рода влияние о. Матвея не подлежит сомнению” (Гражданин. 1874. № 4. С. 112). На подобные обвинения священник отвечал коротко и убеждённо: “Врача не обвиняют, когда он по серьёзности болезни прописывает больному сильные лекарства” (*Образцов Ф.И., протоиерей*. О. Матвей Константиновский (По моим воспоминаниям) // Тверские Епархиальные Ведомости. 1902. № 5. С. 137–141).

⁵ “Завещание” Гоголя было написано в июле 1846 года и вошло в состав “Выбранных мест из переписки с друзьями”, которые увидели свет в 1847 году. Ф.И. Буслаев ссылается на начало пятого раздела “Завещания”: “Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалою, ни осуждением моих произведений в публичных листах и журналах: всё будет так же пристрастно, как и при жизни” (Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 12).

⁶ *Хавский Пётр Васильевич* (1783–1876) – чиновник 8-го департамента Сената, историк, правовед, журналист, позднее тайный советник. 28 февраля 1852 года Ф.В. Булгарин написал ему следующее: «Если Гоголь для вас и для редактора “Московских полицейских ведомостей” кажется знаменитым писателем, то он вовсе не таким кажется мне и Н.И. Гречу. Сравнить Гоголя с Карамзиным – и грех и смех! Никто не нанёс пагубнейшего удара чистоте, правильности русского языка и изящному вкусу, как Гоголь. Партия натуральной школы возвеличила его, а почести, оказанные ему в Москве, не делают чести её литературному вкусу» (Русская Старина. 1872. № 3. С. 482).

⁷ Позднее этот эпизод описал сам И.С. Тургенев в своём мемуарном цикле “Литературные и житейские воспоминания”. Его статья о кончине Гоголя была напечатана в “Московских Ведомостях” (1852. № 32. 13 марта) под заголовком “Письмо из Петербурга”. О последствиях данной публикации см. ниже.

⁸ Московский генерал-губернатор граф А.А. Закревский писал по этому поводу шефу жандармов графу А.Ф. Орлову 29 февраля 1852 года: “Нужным считаю сообщить тебе следующее: славянофилы с того времени, когда не велено было носить бород, упали духом; но в настоящее время, когда умер известный писатель Гоголь, живший у бывшего одесского градоначальника графа Толстого, славянофилы А. Хомяков, К. и С. Аксаковы, А. Ефремов, П. Киреевский, А. Кошелев и Попов, собравшись к графу Толстому и найдя у него некоторых лиц, начали рассуждать, где должно отпевать Гоголя. Когда на это бывший там профессор Грановский сказал, что всего приличнее отпевать его в университетской церкви как человека, принадлежащего некоторым образом к университету, то все вышеописанные славянофилы стали на это возражать, говоря: “К университету он не принадлежит, а принадлежит народу, а потому, как человек народный, и должен быть отпезан в церкви приходской, в которую для отдания последнего ему долга может входить лакей, кучер и всякий, кто пожелает, а в университетскую церковь подобных людей не будут пускать”. Когда об этом объявил мне попечитель университета, то я в то же время для прекращения всех толков и споров славянофилов приказал Гоголя, как почётного члена здешнего университета, непременно отпевать в университетской церкви” (Красный архив. 1925. Т. IX. № 2. С. 300). Так и было сделано. Графиня Е.В. Салиас писала в те дни, что славянофилы, друзья Гоголя, “сделали из дела общего, из скорби общей вопрос партий и не несли покойного, а устранились от погребения” (Русский Архив. 1907. № 3. С. 439).

⁹ *Снегирёв Иван Михайлович* (1793–1868) – этнограф, фольклорист, профессор Московского университета, цензор. Высказанное им суждение о творчестве Гоголя, по-видимому, надо трактовать как афоризм, неизбежно упрощающий взгляд учёного. И.М. Снегирёв не был чужд и более широких воззрений: недаром в 1842 году он защищал, пусть и не слишком последовательно, рукопись “Мёртвых душ” в цензурных коридорах. Попутно отметим, что Гоголь высоко оценивал учёные труды профессора.

¹⁰ Имеется в виду популярная петербургская газета “Северная Пчела”, издававшаяся Ф.В. Булгариным и Н.И. Гречем.

¹¹ Скорее всего, этот визит М.С. Щепкина имел место на масленице.

¹² *Митрофан*, св. (1623–1703) – первый епископ Воронежский. “Тело его положено было первоначально при старом Благовещенском соборе, в придельном храме архангела Михаила. Когда в 1718 году началось построение нового собора, гроб его поставлен был под соборною колокольнею, а по совершенном окончании здания, в 1735 году, тело Митрофана снова перенесено в кафедральную церковь, где находится и доньне. При перенесении гроба сего святителя, как в первый раз, так и во второй, тело его обрето нетленным... Наконец огласились чу-

десные исцеления, получаемые при гробе святителя Воронежского. По исследовании всех показаний освидетельствованы были 1832 г. апреля 18 и 19 нетленные Митрофановы мощи. и того же года, августа 7, впоследствии их торжественное открытие... Память святителя Митрофана повелено праздновать ежегодно, ноября 23" (Словарь исторический о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. Изд. 2-е. СПб., 1862. С. 162–163).

¹³ Опущена запись, не относящаяся к "гоголевской" теме.

¹⁴ Северная Пчела. 1852. № 87. 19 апр.; № 99. 3 мая. Автором обеих статей был Ф.В. Булгарин.

¹⁵ *Нарежный Василий Трофимович* (1780–1825) – прозаик; по мнению В.Г. Белинского, именно он был родоначальником русского романа. *Дюма Александр* (1802–1870) – французский прозаик, драматург и мемуарист. *Сю Эжен* (Мари Жозеф; 1804–1857) – французский прозаик. *Кок Поль Шарль де* (1793–1871) – французский прозаик; поминая его, Ф.В. Булгарин, в частности, выразился так: "Гоголь не что иное, как русский Поль де Кок с тою разницею, что Поль де Кок знает основательно свой природный язык, а г. Гоголь весьма плохо знал язык великороссийский" (Северная Пчела. 1852. № 99. 3 мая).

¹⁶ И.С. Тургенев был арестован 16 апреля за нарушение цензурных правил; он провёл в полицейской части месяц, а затем отправлен на жительство в деревню.

¹⁷ *Мусин-Пушкин Михаил Николаевич* (1795–1862) – попечитель Петербургского учебного округа и председатель Петербургского цензурного комитета.

¹⁸ Подразумевается статья И.С. Аксакова "Несколько слов о Гоголе" (1852).

¹⁹ Вот соответствующий фрагмент сочинения Ф.В. Булгарина: «Статья в пятом номере "Москвитянина" о кончине Гоголя напечатана на четырёх страницах, окаймлённых траурным бордюром. Ни о смерти Державина, ни о смерти Карамзина, Дмитриева, Грибоедова и всех вообще светил русской словесности русские журналы не печатались с чёрной каймой. Все самонаименованные подробности болезни человека сообщены М.П. Погодиным, как будто дело шло о великом муже, благодетеле человечества, или о страшном Аттиле, который наполнял мир славою своего имени» (Северная Пчела. 1852. № 87. 19 апр.).

²⁰ Ср. с письмом И.С. Аксакова к отцу от 18 января 1847 года: "Я не верю никаким клеветам на её счёт, но от неё иногда веет атмосферою разврата, посреди которого она жила. Она показывала мне свой портфель, где лежат письма, начиная от государя до всех почти известностей включительно. Есть такие письма, писанные к ней чуть ли не тогда, когда она была ещё фрейлиной, которые она даже посовестила читать вслух... Столько мерзостей и непристойностей. Много расска-

зывала она про всех своих знакомых, про Петербург, об их образе жизни и толковала про их гнусный разврат и подлую жизнь таким равнодушным тоном привычки, вовсе не возмущаясь этим и продолжая быть в фамильярных сношениях со всеми..." (Аксаков И.С. Письма к родным. 1844–1849. М., 1988. С. 345–346). С.Т. Аксаков, в свою очередь, называл А.О. Смирнову "кающейся Магдалиной"; эта характеристика стала расхожей в славянофильских кругах. Однако, думается, такая оценка напоминает прокрустово ложе: жизненный путь Александры Осиповны был и сложнее, и извилистее, и драматичнее.

²¹ *Вспадать* – приходить на ум.

²² Позднее И.С. Тургенев публично издевался над этими посланиями; в "Отцах и детях" Базаров говорит: "Я преракотно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше". Эпизод, описанный Ф.И. Буслевым, можно отнести к той же неблагоприятной коллекции: писатель, допущенный к чужой переписке, распространяется о содержании её чуть ли не на каждом углу. Впрочем, современники знавали и не такого И.С. Тургенева – к примеру, запечатлелось в памяти его дружеское рукопожатие с Дантесом, убийцей Пушкина, и кое-что другое. "Жизнь и поэзия одно", – эти слова В.А. Жуковского мало подходили к нему, корифею только литературы...

В ТРЕУГОЛЬНИКЕ: ЛОГИКА–ЯЗЫК–РЕЧЬ.

ЭР. ХАН-ПИРА,

кандидат филологических наук

Идет дождь, но я так не
считаю.

(парадокс Дж.Э. Мура)

– У вас есть собственное мнение?

– Есть, но я его не разделяю.

(анекдот 70-х годов).

Один студент шел в кино, другой – в
сапогах.

(старая шутка).

Позволю себе высказать ряд соображений по поводу статей Б.Ю. Нормана «"Скорости оставляют позади катера"? О логике естественного языка» (Русская речь. 1996. № 6) и А.К. Киклевича «"Цвет платья наминал..." Есть ли у языка своя логика?» (Русская речь. 1997. № 5). Вот несколько исходных положений, на которые буду опираться.

В языке нет ошибок. Ни фонетических, ни грамматических, ни лексико-семантических. Каждая форма существования национального языка имеет свои нормы. И речь (литературная, диалектная, просторечная), следующая этим нормам, – правильная. Ошибки возникают в речи, когда пользующийся той или иной формой бытования языка нарушает ее нормы.

Все языки мира – это, в сущности, разновидности единого человеческого языка, языка рода человеческого. «Термин *язык* имеет, по крайней мере, два взаимосвязанных значения: 1) язык вообще, язык как определенный класс знаковых систем; 2) конкретный, так называемый этнический, или "идиоэтнический" язык – некоторая реально существующая знаковая система, используемая в некотором социуме, в некоторое время и в некотором пространстве. Язык в первом значении – это абстрактное представление о едином человеческом языке, средо-

точии универсальных свойств всех конкретных языков. Конкретные языки – это многочисленные реализации свойств языка вообще» (Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 604). А вот что писал С.Н. Булгаков в книге “Философия имени” (М., 1998): “Наречия различны и множественны, но язык один, слово едино, и его говорит мир, но не человек, говорит мирочеловек” (с. 35), “...Язык один и множественны лишь его наречия” (с. 55). Под наречиями С.Н. Булгаков разумел все множество существующих языков.

Мыслительные операции (мышление) людей, говорящих на разных языках, интернациональны: нет особой китайской или нидерландской логики, т.е. нет национальной (этнической) логики в смысле самого мыслительного процесса, действующих в нем законов и существующих форм. Кто-нибудь видел научную работу под названием, скажем, “Английская логика” и посвященную не истории развития науки логики в Англии, а именно особенностям мыслительного процесса у англосаксов?

Всем языкам мира присущи многозначность (полисемия) слов, синонимия, антонимия. Как это объяснить, не признавая единства процессов, порождающих эти интернациональные языковые явления, языковые универсалии? Как заметил немецкий философ Г. Клаус, “хотя законы логики основываются на законах бытия, однако они сами не являются законами бытия. Законы логики абстрагированы из действительности” (Введение в формальную логику. М., 1960. С. 472). Логические законы “едины для всех людей, независимо от классовой или национальной принадлежности” (Н.И. Кондаков. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 310); “Мышление народов, говорящих на разных языках, едино по своей сущности и по своему происхождению и является общей принадлежностью человечества как рода. Самым убедительным доказательством этому служит неопровержимый факт возможности взаимопонимания всех людей земного шара” (Г.В. Колшанский. Логика и структура языка. М., 1965. С. 22). И на этом единстве законов и форм мышления основывается возможность перевода сказанного на одном языке на все другие.

В языке нет логических ошибок (алогизмов). Они могут быть только в речи.

А теперь обратимся к примерам “речевых неправильностей” и “типичных нарушений законов логики”, как пишет Б.Ю. Норман. “Вода во много раз плотнее воздуха. Поэтому и скорости летательных аппаратов в атмосфере земли оставили позади даже рекордно быстроходные катера”. Этот пример из журнала “Юный техник” автор комментирует так: “И подумалось: скорости оставляют позади катера? Какая речевая небрежность! Хороший редактор, конечно же, должен был исправить: скорости летательных аппаратов оставили позади скорости катеров” (с. 24). И далее приводит примеры “со схожими речевыми неправиль-

ностями” из художественной речи: “В загоне... стоял покаты́й жираф, древнеегипетские изображения которого считались когда-то баснословной смесью всех животных...” (И. Бунин), “Историк {...} сильно противоречит показаниям мясника” (А. Грин), “Голос сильно напоминал виновника несчастного случая {...}” (Арк. Бухов). Б.Ю. Норман говорит: “Следовало бы сказать: изображения жирафа считались смесью изображений всех животных; показания историка противоречат показаниям мясника; голос напоминал голос виновника несчастного случая”.

Когда мы слышим “монархи и короли”, “в магазине есть картошка и овощи”, т.е., когда в перечислительном ряду стоят родовые и видовые названия, это действительно логическая ошибка. Об этой ошибке автор говорит, что так “нельзя по-русски”. И по-французски, и по-немецки тоже нельзя, что служит лишним доказательством интернационального статуса логики как мыслительного процесса, регулируемого определенными правилами. Но нелогично мыслящие носители разных языков вполне могут в своей речи нарушать логические запреты. (Логическая ошибочность приведенного противопоставления – “блондин, но инженер” – почему-то пояснена так: “противопоставляемые понятия относятся к разным сферам познавательной деятельности”. К какой же сфере познавательной деятельности относится понятие “блондин”? Между логическими классами “цвет волос” и “профессия” нет никакой связи, а потому противопоставление представителей этих классов алогично в речи на любом языке, если только в каком-нибудь социуме свобода выбора профессии не будет ограничена цветом волос.)

В продемонстрированных Б.Ю. Норманом примерах из художественных текстов нет ничего алогичного: там результаты работы эллипсиса и метонимии. Нет ничего алогичного и в следующих примерах: “Уже виден впереди серый камень, синь впадин и ущелий” (И. Бунин), “И граммофон напевал знакомую песню о каком-то негре и любви негра...” (В. Набоков), “...Надеемся только на крепость рук, / На руки друга и вбитый крюк”...” (В. Высоцкий).

Однако Б.Ю. Норман видит здесь “нарушение логических правил”: “сочинительные ряды... включают в себя хотя и связанные метонимическими ассоциациями, но явно неоднoplanовые (конкретные и абстрактные) понятия”. И он пишет: “Верный вывод, который напрашивается из этих наблюдений, – это то, что язык не подчиняется логике, не следует ее формальным основаниям... Но, пожалуй, точнее этот вывод звучал бы так: у языка с в о я логика, свои основания для тех операций, которые производятся со знаками в речевой деятельности” (с. 25). И через несколько страниц: “...принципы формальной логики сталкиваются в языке с другими правилами – семиотики и семасиологии, синтаксиса и стилистики. Так рождается особая – нежесткая – логика язы-

ка..." (с. 28). И если сказанное о логике языка на с. 25 еще можно было счесть за метафору, то процитированное заставляет думать, что для Б.Ю. Нормана это не метафора.

Даже если признать, что в приведенных Б.Ю. Норманом текстах и есть "нарушение логических" правил, это не свидетельство неподчинения языка логике, а свидетельство неподчинения ей авторов. И нет у языка никакой своей логики. Б.Ю. Норман упоминает об эллипсисе ("Мне пять тетрадей в клетку и пять в линейку"), метонимии ("Дождь заглушал все остальные звуки; цвет платья напоминал спелую вишню"), стяжении, конденсации ("Подать на конкурс"). Так вот, все эти явления (как и метафорические, синекдохические переносы названий, расширение и сужение лексических значений, образование слов под действием аналогии) суть процессы мыслительной деятельности, проявляющиеся в речи, с последующим закреплением или незакреплением в языке.

Если не стоять на точке зрения вербализма (т.е. признания невозможности мыслить без помощи языка), тогда следует полагать вполне возможным возникновение, например, метафоры у поэтов и без помощи языка. Есенинское "с копной волос твоих овсяных" и Маяковского "сливеют губы с холода" могли быть продиктованы сличением в сознании авторов зрительных образов (наглядно-образное мышление).

Человеческая мысль – вот "вечный двигатель" языка через посредство речи.

В статье А.К. Киклевича сталкиваешься с синонимичностью словосочетаний *языковые выражения* и *речевые выражения* (с. 48, 53, 55). Однако языковые выражения – это устойчивые, оязыковленные выражения, т.е. единицы языка, факты языка (например, фразеологизмы). Странное впечатление оставляет такое место: «Логические парадоксы часто встречаются среди фразеологизмов... Фразеологическое сочетание *остались одни воспоминания* означает "исчезнуть, перестать существовать". Но если, например, высказывание *От колбасы остались одни воспоминания* понимать буквально, в соответствии с его внутренней формой (по аналогии с высказываниями типа *От дома осталась одна крыша*), то воспоминания окажутся частью колбасы» (с. 52). А если то же самое проделать с фразеологизмами *намылить голову, заткнуть за пояс, взять в свои руки, положить зубы на полку, сесть на иглу* и т.д.? И где же здесь логические парадоксы?

Не менее странно читать и вот это: «...стало модным увлечение лингвистов логическими методами описания языка... Однако не все лингвисты в этой моде "находят вкус" – доказывая нелогичность естественного языка, они обнаруживают все новые подтверждения того, что многообразие языков никак не сводится к реестру норм правильного мышления» (с. 48).

Да кто же когда сводил все многообразие языков к реестру логиче-

ских норм? Тем паче, что в языке нет логики как процесса мыслительной деятельности. В языке нет норм правильного мышления, но нет и их нарушения.

На стр. 55 читаем: “Когда говорят о том, что естественный язык не подчиняется логике, то имеют в виду, что наша речевая деятельность, кроме правил, регулируется также правилами нарушения правил и, может быть, даже правилами нарушения правил нарушения правил. Логика же зачастую представляется скучной и примитивной наукой, не способной даже в приближении отразить многообразные нюансы интеллектуальной деятельности человека”. Здесь, кажется, отождествляется логика как мыслительный процесс с логикой как научной дисциплиной. И что за правила нарушения правил, уходящие в “дурную бесконечность”? Логика как мыслительная деятельность, подчиняющаяся определенным законам и протекающая в определенных формах, существовала до появления науки логики. Например, из четырех законов логики три были открыты Аристотелем, один, спустя века, – Лейбницем, но это не значит, что до них эти законы не действовали в мышлении. Логика как деятельность мысли находится не в языке. Последний выступает как орудие мысли (когнитивная функция языка), когда мысль прибегает к его помощи.

Тезис Б.Ю. Нормана об особой логике языка встречает осторожное возражение А.К. Киклевича: “...вряд ли у языка в целом есть какая-то своя особая логика” (с. 56). Значит, “в целом вряд ли”, а в какой-то части языка – да, т.е. язык местами обладает своей логикой? На каком же (каких же) уровне (уровнях) языка она существует?

А.К. Киклевич замечает: “...отношения между языком и логикой... сложны и трудноопределимы. Не вызывает сомнений, кажется, одно: мы по-разному говорим, потому что по-разному думаем” (с. 57). О чем это: о говорении на разных языках или о разной речи на одном и том же языке?

Недавно прочел в “Известиях” обмен мнениями по поводу фильма Скорцезе об Иисусе Христе. Один из собеседников сказал, что фильм оскорбляет чувства верующих. А на вопрос, видел ли он сам эту ленту полностью, ответил, что необязательно самому принимать наркотики, чтобы быть убежденным в их вредности. Вред наркотиков, наркомагии – медицински установленный факт (именно на этом основано уголовное преследование наркодельцов). А художественное произведение допускает множественность интерпретаций, и все они обязательно должны быть основаны на целостном знакомстве с ним. Отвечающий нарушил логический закон тождества. На это его подвиг не русский язык, а уровень личной культуры мысли. Истинность, ложность – внеязыковые категории. Вот как об этом сказал М.М. Бахтин: “Только высказывание может быть верным (или неверным), истинным, правдивым (ложным), прекрасным, справедливым и т.п.” (М.М. Бахтин. Эсте-

тика словесного творчества. М., 1979. С. 301). Высказывать истину или ложное мнение можно без помех в речи на любом языке.

Давайте вспомним тезис Гегеля из его “Лекций по истории философии”: “Вообще язык выражает в сущности лишь общее; но то, что мыслится, есть особенное, отдельное. Поэтому нельзя выразить в языке то, что мыслится”. Да, в языке нельзя, но с его помощью, при его посредстве можно. В речи, внутренней и внешней. Здесь Гегель предвосхитил Соссюра.

Вспомним и уточнение формулы Маркса и Энгельса (“язык есть действительное сознание”), сделанное академиком В.В. Виноградовым в 1963 г. в докладе “О преодолении последствий культа личности в языкознании”: “речь есть действительное сознание”. Независимо от В.В. Виноградова к этому же выводу пришел М.М. Бахтин: “Текст является... непосредственной действительностью мысли и переживаний” (Указ. соч. С. 281).

Уже скоро двадцать лет с того дня, как один московский лингвист сообщил коллегам, что возможно строго научно доказать правдивость русского языка, продекларированную Тургеневым. Однако ни сам этот лингвист, ни кто-нибудь другой так и не осуществили эту возможность. Потому что ее нет.

Два и пара

И.А. ШИРШОВ,

доктор филологических наук

На первый взгляд, рассматривать эти слова в сопоставлении некорректно: *два* – количественное числительное, а *пара* – существительное; первое изменяется по родам (*два дома, две избы*), а второе относится к женскому роду. Слово *два* входит в счетный ряд (*одна книга, две книги, три книги*), а слово *пара* такого ряда не образует. Кажется, корректнее было бы сравнивать слова *двойка* и *пара*: оба они существительные и имеют общие семантические компоненты в значении. Но *двойка*, например, в значении “игральная карта с двумя знаками” входит в замкнутый счетный ряд (*двойка червей, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка*), а *пара* в него не входит. Кроме того, слово *двойка* производное и наследует ядро своего значения от слова *два*. При таком сопоставлении выявляется высокий уровень системности слов *два, двойка* и изолированность слова *пара*. Возникает даже вопрос, не является ли слово *пара* избыточным, случайно оказавшимся в языке.

Но анализ сочетаний *два сапога, пара сапог, двое сапог* показывает, что избыточности здесь нет. В первом сочетании слово *два* имеет чисто количественное значение “один и один” и реализуется в счетном ряду (*один сапог, два сапога, три сапога*). Во втором сочетании слово *пара* имеет значение “один плюс один как единое целое”. В таком случае речь идет о комплекте, т.е. о сапогах одного размера, одном левом и другом правом. В третьем сочетании слово *двое* имеет значение “две пары”, и речь здесь идет о четырех сапогах. Таким образом, слово *пара* в современном русском языке передает такое значение, которое не могут выразить слова *два* и *двое*.

Связь между словами *два* и *пара* есть. Она просматривается на двух уровнях – семантическом и синтаксическом. На семантическом уровне их объединяет значение количества “один и один”, “один плюс один”. На синтаксическом уровне они формируют комплетивные (восполняющие) отношения, причем слово *пара* сочетается с родительным падежом существительного, как и слово *два*: *два сапога, пара сапог*. Можно высказать предположение, что синтаксические характеристики слова *пара* сформировались на базе отношений, свойственных слову *два*. Следует отметить, что только при одном количественном числительном появилось существительное иного корня. Такого соотношения не знает больше ни одно числительное. Ясно, что язык двигался от значе-

ния “двойственности” к значению “парности”, поэтому представляют интерес причины этого движения.

Идея количества у слова *два* (в сочетании с существительным) предстает как неразрывное целое, как некая сущность, вычленяемая нашим сознанием. Не случайно у восточных славян и – шире – у индоевропейцев парная симметрия имела сакральное значение, выразившееся в создании пантеона парных божеств. Так, клятвы в договорах русских с греками 907 и 971 гг. скреплены именами двух богов – Перуна и Велеса. История язычества охватывала тысячелетия, и парная симметрия оставила неизгладимый след в культуре и языке славян.

Сакральность парности у восточных славян сменилась на сакральность числа “три”, ср. *троица* – триединство Бога (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух святой). Связано это с вытеснением язычества православием. Но история православия – это только миг на временной оси, хотя и очень важный. Так, в науке нет удовлетворительного объяснения, почему исчезло двойственное число в русском языке. Можно высказать предположение, что произошло это со сменой ментальности, перестройкой сознания людей с сакрального “два” на сакральное “три”. Связь языка с культурой, видимо, более глубокая, чем мы ее себе представляем. Чтобы найти отражение в языке и прежде всего в грамматике, самой абстрактной составляющей языка, идея, точнее – идеология, должна пронизывать сознание народа и существовать сотни, тысячи лет. Хранителем этой идеологии, кроме археологических данных, был и остается язык.

Идеология парности возникла прежде всего из наблюдений над строением тела человека (и животного), характерной особенностью которого является удивительная симметрия его органов, которых оказывается ровно два: *два бедра, два бока, две брови, два века, два глаза, две зеницы, две лани, два крыла, две руки, две ноги, две ноздри, два рога, два уса, два уха, две челюсти*. Всего таких слов было 41 (см.: Желобов О.Ф. Древнерусское двойственное число в общеславянском контексте. Казань, 1997. С. 38).

Такое замечательное удвоение каждого органа, на взгляд наших предков, не было случайным, здесь они видели божественное провидение. Парность предметов сделалась значимой при числовом членении мира: считать все сущее на “один” и “много” было совершенно недостаточным, и между ними появилась “двойственность”, проявляющаяся у всего живого и противопоставляющая его миру вещей. Таким образом парность, кроме количества, приобрела значение свойства, характеристики, знаковости и в более широком плане – сакральности.

Это и легло в основание двойственного числа, которое занимало срединное положение на оси абстрактности: единственное число – двойственное число – множественное число. Двойственное число было связано с категорией рода, что и сохранилось в современном русском

языке, ср. *два глаза*, но *две зеницы*, *оба бедра*, но *обе голени*. Двойственное число проявляло себя на уровне склонения существительных, словоизменения числительных, местоимений и глаголов, передающих значение двойственного числа. Способы выражения двойственного числа достаточно известны, мы не будем на них останавливаться. Отметим лишь, что идеология “двойственности” и “тройственности” сосуществовали в течение 400 лет, со дня принятия христианства и кончая XIV веком, когда произошел распад дуальной парадигмы.

Сам распад сопровождался изменениями двоякого рода. На грамматическом уровне он привел к перестройке числовой парадигмы, в которой оказались противопоставленными формы единственного и множественного числа. Достаточно лексичное двойственное число было поглощено числом множественным, благодаря чему возросла абстрактность категории числа вообще.

Но с распадом морфологического двойственного числа не исчезла идеология двойственности, она трансформировалась в лексическую категорию парности. Вообще в языке семантические характеристики, приобретшие имманентную сущность, не исчезают бесследно: они или живут как память о прошлом, или выражают себя иными, чем ранее, средствами. Так, для современного языкового сознания непонятно значение слова *одноколка*. Если мы попытаемся осмыслить его через составляющие “один” и “коло, колесо”, получается повозка с одним колесом. На самом деле это слово возникло на базе именительного падежа двойственного числа слова *коло* “колесо” – *кола* (буквально – “два колеса”) и значило “повозка с одной колой”, т.е. двухколесная повозка. Исконное значение в слове *одноколка* сохранилось и живет как память о двойственном числе.

Пока существовало двойственное число, в слове *пара* не было необходимости, поэтому в “Материалах для словаря древнерусского языка” И.И. Срезневского оно отсутствует. Слово впервые фиксируется в 1704 г. в Лексиконе Вейсмана и является заимствованием из латинского (*par* “равный”) через немецкий (*Paar*). Это заимствование оказалось как нельзя кстати: идеология двойственности продолжала существовать и развиваться, а грамматическая категория двойственного числа, во-первых, исчезла, а, во-вторых, с ее помощью не все оттенки смысла можно было выразить. Появившись в русском языке, слово *пара* оказалось противопоставленным словам *два*, *двое*, *двойка*. В современном языке возник трехчленный синонимический ряд (*получил два*, *двойку*, *пару*). Все три слова обозначают школьную оценку “плохо, неудовлетворительно”, причем ядром ее является количество. В слове *два* это значение развилось в результате эллипсиса (два *балла*).

В остальных своих значениях эти слова имеют особое семантическое поле, на которое не распространяются отношения синонимии. Так, слова *два* и *оба* в количественно-качественном значении продол-

жают употребляться с соматическими существительными *глаз, рука, нога* и т.д., как и сотни лет назад, когда они входили в состав так называемого дистрибутивного двойственного числа (*ослеп на оба глаза, охромел на обе ноги, две руки*). В этих сочетаниях объект (соматическое имя) охватывается полностью, продолжение счетного ряда невозможно. При сочетании с именами другой семантики слово *два* выступает только в количественном значении, а поэтому входит в счетный ряд (*один кирпич, два кирпича ... пять кирпичей*).

Но этому как будто противоречат следующие контексты: “Гусениц бабочки я узнавал по тому, что они имеют обыкновенно восемь пар ног” (С. Аксаков); “Когда Илья вышел, они плотно придвинулись одна к другой и со страхом уставились на него тремя парами голубых глаз” (М. Горький); “Три пары острых крыльев простирались с боков его [летучего корабля]” (А.Н. Толстой). Но противоречия здесь нет, так как слова *ноги, глаза, крылья* употреблены не в соматическом значении, а участвуют в обозначении достаточно большого количества, будучи для удобства счета сгруппированы в пары.

Свой набор значений и у слова *двойка*: *написать двойку “цифру”, ехать на двойке* “трамвае, пронумерованном цифрой два”, *двойка пик* “игральная карта, имеющая два знака”, *заезд двоек* “лодок с двумя гребцами”. Ни в одном из этих значений слово *пара* не употребляется (о слове *двое* см. дальше).

Истинным наследником двойственного числа стало заимствованное слово *пара*, по количеству передаваемых значений оно сопоставимо с исконно русскими словами. Ядром всех его значений стало значение собирательности, представление двух предметов как единого целого. Обычно значение собирательности передается словообразовательными средствами, ср. *студенчество, вороньё, пионерия*, в слове *пара* это значение включено в лексико-семантические характеристики.

При обозначении лиц оно имеет значение “двое как единое целое”, например: *супружеская пара, влюбленная пара, встретил знакомую пару*. В результате семантического переноса слово *пара* может называть одно лицо, т.е. целое употребляется для обозначения части: “Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете” (Гоголь). И даже в этом случае слово *пара* не теряет своей собирательной семантики, обозначая лицо не в счетном ряду, а акцентируя внимание на “одном из двух”.

Когда речь идет о браке, то значение “один из двух” начинает доминировать: критической оценке подвергается жених или невеста с позиций соответствия эталону (своему сыну или дочери), а на первое место выдвигается значение “подходит кто-то кому-то или не подходит”: “Тетя Поля считает, что невестка ее не пара Митьке” (Крутилин).

Слово *пара* передает значение “две лошади, запряженные в экипаж”: “К площади с Лубянки мчались одиночки, пары, тащились вань-

ки-зимники на облезлых клячах” (Гиляровский). В этом значении слово *пара* вступает в своеобразный счетный ряд, формируемый именами существительными: *одиночка, пара, тройка* (Вот мчится тройка удалая), *четверка* (Появилась карета, запряженная четверкой). В древнерусском языке функционировал так называемый малый квантитатив, образуемый сочетанием числительных *два, три, четыре* с существительными. В современном русском языке трансформированный квантитатив расширился за счет слова *одиночка*, но предусмотренное системой языка слово *двойка* оказалось вытесненным словом *пара*.

Пара активно употребляется при сочетании с неодушевленными существительными, обозначая два однородных или одинаковых предмета, составляющих комплект: *пара чулок, пара носков, пара перчаток, пара сапог, пара ботинок*. В этом значении оно также способно обозначать один из двух предметов комплекта (эта перчатка – пара к утерянной).

Сочетаясь со словами, употребляющимися только во множественном числе – типа *брюки, щипцы, очки, ножницы*, слово *пара* называет один предмет, состоящий из двух одинаковых и соединенных вместе частей: *пара брюк, пара ножниц*, т.е. *одни брюки, одни ножницы*. Сочетаясь с этими же существительными, собирательное числительное *двое* называет два таких предмета как одно целое: *двое брюк, двое ножниц*, т.е. *две пары брюк, две пары ножниц*. И здесь слово *пара* не дублирует значение числительного *двое*, а занимает в семантике русского языка свою, особую нишу.

Используется слово *пара* для названия мужского костюма, состоящего из брюк и пиджака, фрака, сюртука, причем дифференцируются эти костюмы прилагательными: *пиджачная, фрачная, сюртучная пара; новая пара, суконная пара*.

В последние годы слово *пара* используется в лингвистической терминологии для обозначения двух языковых единиц, соотносительных по какому-либо признаку и объединяемых в одно целое, например: *видовая пара, залоговая пара, словообразовательная пара, пара по звонкости-глухости, пара по твердости-мягкости*.

И, наконец, слово *пара* расширяет сферу своего употребления, вторгаясь в семантическое поле числительного *два*. Так, в сочетаниях *купить пару яблок, заказать пару пива* это слово употребляется как счетное, обозначающее *два*. В сочетаниях *черкни пару строк, приеду через пару дней, выйди на пару слов* оно обозначает небольшое количество чего-нибудь, как и слово *два* в сочетаниях иной структуры: *приеду дня через два*.

Такое большое количество значений у слова *пара* свидетельствует о том, что идеология двойственности не умерла, а, наоборот, бурно развивается и прежде всего на лексико-семантическом уровне. Все эти значения равноправны в том смысле, что каждое из них занимает свою

нишу в семантическом пространстве. Но они неравноценны с точки зрения словопорождающих способностей.

Наибольшей продуктивностью обладает значение “два лица (или животного) как одно целое”. Так, слово *парочка* с уменьшительно-ласкательным значением возникло на его базе (*влюбленная парочка*), и не унаследовало больше ни одного значения. Такая же картина наблюдается в словах *напарник* “тот, кто работает на пару, в паре с кем-нибудь” (*дежурить с напарником*), *пароваться* “объединяться в пары” (*птицы уже начали пароваться*), *паровать* (обл.) “объединять в пары”: “Гляжу я на вас и думаю, ...до чего ж природа разумно парует людей!” (Бабаевский), *попарно* “парным способом, по двое” (*солдаты стояли попарно*), *парами* “по двое” (*дети шли парами*). Слово *пароконный* “предназначенный для пары коней” (*пароконные сани*) тоже унаследовало одно значение слова *пара* “две лошади”.

И только два слова в словообразовательном гнезде освоили два и более значения производящих. Так, в слове *спарить* отражено два значения слова *пара* “два предмета” и “две лошади”: *спарить сеялки, спарить лошадей для езды*. В слове *парный* отражено четыре значения слова *пара*: “составляющий с другим пару (два однородных предмета)”, ср. *парный ботинок*; “формирующий пару (две единицы языка)”, ср. *парный согласный*; “предназначенный для запряжки парой (две лошади)”, ср. *парные сани*; “производимый парами (два человека)”, ср. *парная игра в теннис*.

Таким образом, идеология парности живет в русском языке. На временной оси распалось грамматическое двойственное число, но произошло ее восполнение на лексико-семантическом и словообразовательном уровне, причем эти уровни являются открытыми структурами, так как не исключается появление новых значений и новых слов.



Туристический или туристский?

В.И. КРАСНЫХ,
кандидат филологических наук

Словарная судьба этих паронимов представляет собой значительный интерес как для специалистов, так и для обычных носителей языка. Впервые эти слова были зафиксированы в толковом словаре Д.Н. Ушакова в 1940 г., причем *туристический* рассматривалось как прилагательное к слову *туризм*, а *туристский* – как прилагательное к слову *турист*. В свою очередь, слово *туризм* (от французского *tourisme*) трактовалось в этом словаре следующим образом: “Вид спорта – путешествия, в которых развлечение и отдых соединяются с образовательными целями”, а *турист* – как “человек, занимающийся туризмом, путешествующий для отдыха, развлечения и удовлетворения своей любознательности”.

В 17-томном словаре русского литературного языка (БАС) указанные паронимы рассматриваются как прилагательные, относящиеся в равной степени к словам *туризм* и *турист*, т.е. фактически как синонимы (напр., *туристическая* и *туристская* база), а сам туризм из вида спорта превращается в “один из видов активного отдыха, представляющий собой путешествия, совершаемые с познавательной целью, с целью закалки организма и т.п.” (напр., *лыжный, экскурсионный, горный туризм*).

Однако в 4-томном словаре (МАС) вновь делается попытка “развести” эти паронимы и трактовать их так, как это было сделано в словаре Д.Н. Ушакова.

Что же касается однокоренных толковых словарей (“Словарь русского языка” С.И. Ожегова под ред. Н.Ю. Шведовой, 23-е изд. М., 1990; “Русский толковый словарь” В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной, 4-е изд., М., 1997), то в них *туристический* квалифицируется как прилагательное к *туризм*, а *туристский* – как прилагательное к *турист* и *туризм*, хотя в виде отдельных словарных статей они не выделены.

В недавно вышедшем в свет “Толковом словаре иностранных слов” Л.П. Крысина (М., 1998) *туристический* дается в качестве прилагательного к слову *туризм*, а упоминание о прилагательном *туристский* вообще почему-то отсутствует.

Такая непоследовательность в трактовке рассматриваемых паронимов была, очевидно, в значительной мере обусловлена определенным изменением самих понятий *туризм* и *турист*, что наблюдалось на протяжении последних десятилетий.

Для того чтобы лучше разобраться в этом процессе, необходимо совершить небольшой экскурс в историю. Дело в том, что понятие “туризм” (применительно к специфике нашей страны) включает в себя два компонента: 1. спортивно-оздоровительный (как организованный, так и самодеятельный туризм) и 2. рекреационно-познавательный (в основном, организованный туризм). В большинстве толковых словарей и словарей иностранных слов эти компоненты не выделяются в качестве самостоятельных значений, хотя и присутствуют в той или иной комбинации в определении слова *туризм*. Исключением является лишь словарь С.И. Ожегова, в котором при толковании этого слова выделяются два значения, соответствующие указанным компонентам: 1. Вид спорта – групповые походы, имеющие целью физическую закалку организма. 2. Вид путешествий, совершаемых для отдыха и самообразования. Это же толкование слова *туризм* полностью продублировано позднее в уже упомянутом “Толковом словаре иностранных слов” Л.П. Крысина.

В 40–70-е гг., когда в нашей стране практически не был развит коммерческий (международный) туризм, преобладал первый компонент этого понятия. Все желающие отправлялись по профсоюзным путевкам на многочисленные стационарные туристические базы и в лагеря (многие из которых принадлежали отдельным министерствам, ведомствам, крупным предприятиям и вузам), расположенные в разных концах нашей страны, откуда совершали пешие, водные и лыжные походы. Кроме того, очень популярен был в то время и самодеятельный туризм (без путевок профсоюзов), когда небольшие группы друзей и родственников путешествовали по произвольно выбранным маршрутам, устраивая по пути привалы с кострами и песнями. Естественно, при не-

развитости коммерческого туризма как весьма доходного бизнеса рекреационно-познавательный компонент в этот период отходил на второй план и сводился преимущественно к путешествиям и экскурсиям по историческим местам, по местам революционной и боевой славы, что часто носило весьма формальный характер.

Именно отсутствие четкого противопоставления между двумя указанными компонентами понятия “туризм” по причине недостаточного развития второго компонента (слабости инфраструктуры и отсутствия широких международных связей) и обуславливало, на наш взгляд, непоследовательность в трактовке как самих понятий “туризм” и “турист”, так и их производных – паронимов *туристический* и *туристский*, что приводило (и приводит до сих пор) к смешению этих паронимов в речи.

В связи с происходящим в нашей стране бурным развитием индустрии международного туризма, возникновением сотен туристических фирм, организующих поездки миллионов наших граждан в зарубежные страны, толкование понятия “туризм” в словаре С.И. Ожегова является, по нашему мнению, оптимальным и наиболее отвечающим духу времени.

Исходя из этого, необходимо дать соответствующие определения и прилагательным *туристический* и *туристский*, поскольку паронимы в принципе не должны употребляться как синонимы. А ведь эти паронимы, как и ранее рассмотренные *комфортабельный* – *комфортный* и *элитарный* – *элитный* (см. Русская речь. 1999. № 4), также попали сейчас в “общественно значимый контекст” и в свете этого должны обрести как бы новое дыхание.

Таким образом, можно дать следующие толкования рассматриваемым паронимам: *туристический* – прилагательное к слову *туризм* во 2-м значении (т.е. туризм как организованный отдых); *туристский* – прилагательное к слову *турист* и *туризм* в 1-м значении (т.е. туризм как вид спорта). При таком подходе происходит разграничение понятий и практически исключается смешение указанных паронимов – каждый из них обслуживает определенный круг существительных.

У прилагательного *туристический* происходит значительное расширение сочетаемости, и за ним закрепляются такие существительные: *агентство, бюро, фирма, компания, предприятие, деятельность, услуги, агент, бизнес, виза, путевка, заявка, группа, путешествие, поездка, круиз, экскурсия, маршрут, сезон, бум, спад, гостиница, комплекс, объект, квартал, часть города, автобус, лайнер, поезд, журнал, буклет* и некоторые другие. Проиллюстрируем сказанное несколькими примерами:

“Мы прикатали туда (в Канн) на два дня в составе большой *туристической группы*, собранной из кинематографистов” (Э. Рязанов. Заэкранье); “Девушка Лена, сопровождавшая группу от *туристиче-*

ской компании, построила сонную публику на вокзале" (Профиль. 1999. № 1); "Бесчисленные туристические бюро легко и быстро решат все формальности, связанные с получением виз" (Известия. 1994. 3 июня); "Чтобы осмотреться, можно съездить в Англию по обычной туристической визе" (Профиль. 1999. № 6).

В свою очередь, прилагательное *туристский* сочетается со следующими существительными: *база, лагерь, поход, жизнь, снаряжение, палатка, рюкзак, одежда, обувь, ботинки, привал, праздник, костер, рассказы, песни, байки, анекдоты, закалка, дружба* и некоторые другие. Например:

"Снаряжение для туристской жизни выдается на месте, но об экипировке необходимо позаботиться самостоятельно" (Домовой. 1998. № 11–12); "Несколько девочек отправились в туристский поход по Военно-Грузинской дороге" (В. Кочетов. Журбины); "– Не хочу слушать идиотские разговоры о том, что мне не интересно, не хочу слушать сопливые туристские песни" (А. Маринина. Я умер вчера).

С учетом сказанного, ошибочным является употребление слова *туристский* вместо *туристический* в таких предложениях:

"Но даже эта баснословная сумма не идет ни в какое сравнение с прибылями норвежцев от туристского бизнеса" (Обозреватель. 1994. № 3); "Сертификация на соответствие безопасности носит обязательный характер для всех туристских предприятий" (Известия. 1996. 27 марта); "Установлен запрет на рекламу по предоставлению туристских услуг без сертификата соответствия" (там же).

Эти предложения выглядят двусмысленно, поскольку из них можно сделать вывод, что бизнесом во время путешествия занимаются сами туристы (например, покупают дубленки или кожаные куртки для последующей продажи), что туристы имеют собственные предприятия и что они оказывают кому-то платные услуги.

Интересно также отметить, что в последнее время многие словосочетания со словом *туристический* за счет семантической компрессии (стяжения) превращаются в однословные номинации (так называемые универбы): *турбюро, турагентство, турагент, тургруппа, туркомплекс, турпоездка, турзаявка*. Некоторые из них отмечены, в частности, в "Толковом словаре русского языка конца XX в." (СПб., 1998).

Итак, проведенное разграничение паронимов *туристический* и *туристский* в связи с изменением содержания понятия "туризм" и расширением его семантики позволит, как нам представляется, упорядочить их употребление и избежать речевых ошибок.

Язык прессы

Окказионализмы на страницах периодики

*А.Д. ЮДИНА,**кандидат филологических наук*

В последние годы нашу печать захлестнула волна окказионализмов. Количество ситуативных новообразований на страницах газет и журналов день ото дня растет. Такой расцвет окказионального словотворчества объясняется внутренней раскрепощенностью наших современников, их ощущением свободы от ограничений разного рода.

О свободе и раскованности языка газет и журналов свидетельствует и то, что именно в наше время, в 90-е годы, окказионализмы стали активно использоваться в заголовках. Приблизительно треть выявленных нами за последние годы окказионализмов находится в названиях статей. Раньше подобные случаи были единичны.

Большой интерес публицистов к ситуативным неологизмам объясняется тем, что такие новообразования разрушают стереотипы восприятия (как в структурном, так и в семантическом плане), дают возможность более полно и точно выразить свои мысли и чувства, дать оценку происходящему, усилить эмоционально-экспрессивную выразительность речи, позволяют экономить языковые средства.

Наш язык, наша речь живут такой же интенсивной жизнью, как и наше общество. В последние годы окказионализмы стали острее, злободневнее. И если раньше они, в основном, были связаны с бытовой стороной жизни, то теперь отражают все наиболее социально значимые события, явления, тенденции. Например: *урнотерапия* – снятие негативного эмоционального напряжения в обществе с помощью голосования; *полит-экономика* – фабрикация дел об экономическом саботаже в интересах какой-либо группы лиц; *этнократия* – власть одной нации над другой; *ультрареформаторы*, *партбереты* – войны

ОМОНа, используемые в политической борьбе против недовольных политикой правительства (они носят черные береты); *урангейт* – скандальные истории с утечкой радиации при создании атомных подводных лодок, первых ядерных реакторов и т.п. (по аналогии с *уотергейт*, *Ирангейт*); *рублепад* – падение курса рубля.

Распад Союза породил проблему беженцев, переселенцев из некоторых регионов бывшего СССР. И в связи с этим возник окказионализм “выдворенцы-нетуденцы”, так как адреса выдворения, в основном, указываются по принципу “пойди туда – не знаю куда” (СПб. вед. 1996. 27 июля). Переезд значительного количества наших соотечественников зарубеж вызвал к жизни окказионализмы: *эмигрень* (*эмиграция* + *мигрень*); *самовывоз* – поездка наших девушек за границу с целью выйти замуж за иностранца; *самозэкспорт* – переезд в другие страны для улучшения своего материального состояния; *друзья-соинограждане* – русские, желающие поменять гражданство, но при этом остаться на исторической родине.

В последние годы в речи очень активно создаются ситуативные новообразования от имен собственных – фамилий политических и общественных деятелей. И в этом проявляется тесная связь с современной действительностью. Например, *горбомания* – поклонение М.С. Горбачеву, экс-президенту России; *ельцинизм*, *ельциноиды*, *ельство*, *Чубайсбург* (от фамилии А. Чубайса. Сов. Россия 1997. 27 нояб.). Пожалуй, чаще других в окказиональном словотворчестве используется фамилия Е. Гайдара: *гайдаризм*, *гайдаровец* – сторонник Е. Гайдара, *гайдаризация* (экономики), *гайдаротерапия*, *загайдалили* (бюджет), *гайдарить* – использовать экономическую политику Гайдара и т.п.

В конце 80-х – начале 90-х годов одними из наиболее популярных и употребительных были слова: *перестройка*, *демократия*, *приватизация*, *ваучер*. Публицисты иногда сознательно искажали слова для снижения социальной ценности обозначаемых ими явлений, понятий, усложняли семантику... И в результате возникли окказионализмы: *хитростройка* (от *хитрая перестройка*), *катастройка* (*катастрофа* + *перестройка*), *ворократия*, *ваучериада*, *чубаучер* (*Чубайс* + *ваучер*) и т.п.

В результате политических и социально-экономических изменений в стране произошло расслоение населения, появились: *новопоколенцы*, *скоробогатики*, *несверхбогатые*, *антиинтеллектуалы*, *интеллигентоиды*, *новорусские жены* – жены новых русских, материально обеспеченные, но неудовлетворенные жизнью женщины.

Значительное влияние Запада, и в первую очередь Америки, в области экономики, политики, торговли, культуры и т.д. проявилось не только в том, что в русском языке возникло огромное количество заимствованных слов: *компьютер*, *файл*, *принтер*, *бартер*, но и в том, что в окказиональном словотворчестве возникли новообразования:

америкомания, америкофобы, америколюбие. А в 1996 году в газете “Санкт-Петербургские ведомости” появился заголовок “Американствующая Русь”. Этот неологизм создан по новой даже для окказионального словообразования модели: “название страны + буквенная прокладка + суффикс причастия”. А ведь, как известно, причастия от существительных, а тем более от имен собственных, не образуются.

Для наших дней характерно использование заимствованных компонентов, калек с иностранных слов. Раньше это не было так ярко выражено. Например, *мини-мисс* – малолетняя победительница конкурса красоты; *бобократ* – “бобо” – по-испански “глупец”; *сникерсовое* искусство – неглубокое, копирующее Запад, не связанное с жизнью страны искусство; “уоркоголизм”, “уоркоголики” – одержимые работой люди (“уорк” в переводе с английского – “работа”); *бабийбилдинг* (ср. *бодибилдинг*); по аналогии со словом *супермен* создан окказионализм *супервумен*.

Иногда окказионализмы создаются ради шутки, игры. Так, в 1993 году на первой странице газеты “Аргументы и факты” (№ 36) был коллаж “Политики на любой вкус”, где обыгрывалась западная реклама, в которой по аналогии с популярным сникерсом Р. Хасбулатов, спикер палаты, был назван “спикерсом”.

Бросается в глаза и то, что за последние годы значительно возросло количество не только откровенно грубых ситуативных новообразований, но и выражающих насилие, агрессию, террор или противодействие им. Например, *спортмазмы* – нелепые высказывания о спорте и спортсменах; *звездить* (о пользующихся известностью людях, которые ведут себя высокомерно, чванливо); *референдурь*; *спёрбанк* – банк, не возвративший деньги вкладчикам и т.п.

Интересно и то, что лет 10 назад, при создании окказионализмов, обозначающих чрезмерно увлекающихся чем-то людей, использовали компонент – *-ман*: *книгоман, фотоман*, а сейчас с этой же целью используют слово *маньяк* – человек, одержимый какой-либо манией или страдающий ненормальным, односторонним влечением к чему-либо: *видеоманьяки, автоманьяки, покупкоманьяки, книгоманьяки...*

Если судить по окказионализмам, то круг интересов наших современников в последние годы изменился. Десятилетие назад были: *автолюбые, людолюбые, шахолуб* (любитель шахмат), *красотоманы, архивопоклонники* и т.д. Иронизировали раньше, в основном, над любителями выпить: *винопоклонники, виногерои, винопланетяне, алконавты, сочашиники, славяне* (те, кто пил “Славянскую водку”), *стоики* – (те, кто пил стоя)...

В последние годы появилось немало новообразований, связанных с деньгами, наркотиками, сексом. Раньше подобные окказионализмы не были зарегистрированы. Например: *валютовозы, лесодоллары, порнодоллары, наркоувлечение, наркороботы, наркостан.*

Больше всего словесных изобретений, созданных за последние годы, свидетельствует о повышенном внимании современников к сексу: *сексоголизм*; *депутанки* (*депутатки* + *путаны*); *интердедушка* (ср. *интердевочка*); *сексолог-амуролог*; *сексмен*; *секс-десант*; *юная десантура*; *секс-ловушки*; *секс-бизнес*; *порнодушок*; *супергрудь*; *нимфомания*; “БЮСТселлер о русских красавицах” – название статьи о конкурсе женских бюстов; «Здесь было что “порноухать”» (*порнография* + *нюхать* в перен. значении “знакомиться с чем-либо, испытывать что-либо”); *киберсекс* (*кибернетика* + *секс*) – обмен фривольными картинками через компьютерные сети.

В последние годы в нашей стране острее стала проблема СПИДа, и возникли окказионализмы: *спидофобия*, *спидоносная диверсия* – предумышленное смешивание наркотиков с кровью ВИЧ-инфицированных больных, *СПИДгорск* – город, в котором обнаружено большое количество больных СПИДом. Не без иронии звучит заголовок “Семнадцать мгновений СПИД-Жуана” (СПб. вед., 1997. 12 июля). В статье говорится о ВИЧ-инфицированном африканце, который имел связь с 17 женщинами и многих из них заразил СПИДом. В данном случае особого эффекта автор добивается в результате столкновения в одном заголовке, казалось бы, несопоставимого: ассоциативной связи с названием популярного кинофильма “Семнадцать мгновений весны” и имени героя-любовника Дон-Жуана.

Значительное количество окказионализмов обозначает мошенников: *химики* (от глагола *химичить* в значении “жульничать”); *гарнизонкосильщики* – призывники, уклоняющиеся от службы в армии; *фальшивонапитчики* – подпольные изготовители некачественной водки; *фальшивоконьячники*; *видеомошенники*; *фальшивозвонильщики* – те, кто предупреждает милицию о мнимых террористических актах; *кукловоды* – специалисты по обману сограждан, подсовывающие им вместо денег “куклу” – бумагу... Этот ряд можно было бы продолжить. В нем вся история болезни нашего общества.

Окказионализмы – это моментальные снимки живой русской речи. Они свидетельствуют о том, как окружающая нас действительность отражается в общественном сознании, и какова она, эта действительность.

Санкт-Петербург.

Язык прессы

ВЛАСТИ ПРЕДЕРЖАЩИЕ И ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ

Л.И. НЕФЕДЬЕВА

Сегодня в средствах массовой информации излюбленным приемом стало использование славянизмов. Многие журналисты, как говорят, “нащупали христианскую ноту эпохи” и широко применяют понятия, связанные с религией, христианской этикой, православным укладом жизни.

В литературном языке давно сложилась культура нормативного употребления церковнославянской лексики. Поэтому особенно заметны явные ошибки, которые проскальзывают и в речи дикторов, и в газетных статьях.

Так, обращает на себя внимание неправильное употребление популярного в настоящее время выражения *власти предержащие*. Зафиксированы неоднократные случаи нарушения норм в употреблении данного фразеологизма: “Дорогие *власть предержащие*, оглянитесь вокруг” (РТР. Моя семья. 24 июля 1998 г.); “Когда говорят *власть предержащие*..., это не фразы” (НТВ. Герой дня. 13 марта 1997 г.); “Я никогда не дружил с властями, с *власть предержащими*” (НТВ. Человек без галстука. 25 апреля 1998 г.); “Сейчас только одного бояться *власть предержащие*” (НТВ. Сегоднячко. 24 сентября 1998 г.); “Но от *власть предержащих* ни ответа ни привета” (НТВ. Сегоднячко. 16 ноября 1998 г.); “*Власть предержащие* приморских городов не остались равнодушными к судьбе бродячих собак” (ТВ-6. Новости. 20 января 1999 г.).

Следует вспомнить те значения выражения *власти предержащие*, которые приводят словари: Так, в “Полном церковнославянском словаре” (Г. Дьяченко. 1993) у слова *предержащий* отмечено значение – “верховную власть имеющий”. Иллюстрация приводится из церковнославянского текста Послания апостола Павла к Римлянам (13,1): “Всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется”.

В четырехтомном словаре русского языка слово *предержащий* толкуется следующим образом: *предержащие власти* – “лица, облеченные властью”; *предержащая власть* – “высшая правительственная власть”. Приведенные значения подкреплены примерами из художественной литературы: “Болотовский рассадник просвещения не составлял предмета особенной заботливости ни для крестьян, ни для местных предержащих властей” (Н. Успенский. Новое место); “Времена были самые

либеральные, и предержавшая власть даже снисходительно заигрывала с протестовавшими элементами” (Мамин-Сибиряк. Именинник).

Сходное толкование данного слова фиксируется в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (М., 1992): *власти предержавшие* “лица, облеченные властью”; *власть предержавшая* – “высшая власть”.

Известно, что наиболее устойчивые связи между словами характерны для фразеологических оборотов. В словосочетании *власти предержавшие* формы числа и падежа зависимого компонента (*предержавшие*) уподобляются формам числа и падежа определяемого имени существительного (*власти*), а в единственном числе и в роде. И данное выражение может употребляться или во множественном числе (в 1-м значении) или в единственном числе (во 2-м значении), как показывают словарные статьи.

Как видно из приведенных примеров, ошибки допущены в типе подчинительной связи в словосочетании. И, вероятнее всего, одной из причин появления этих ошибок является так называемая “ложная аналогия”. Выражение *власти предержавшие* подвергается в речи влиянию выражения *власть имущие*. *Имущие* употребляется в значении существительного – “люди, принадлежащие к наиболее обеспеченным слоям общества”, и управляет словом *власть* в винительном падеже. Проиллюстрируем примерами: “Всегда найдутся *власть имущие*, которым не нравятся люди с предпринимательской жилкой” (НТВ. Криминал. 7 ноября 1998 г.); “Простите нас, что мы, *власть имущие*, не смогли вас сберечь” (РТР. Вести. 24 ноября 1998 г.).

Зачастую выражения *власти предержавшие* и *власть имущие* смешивают, и отсюда вытекает ошибочное употребление – “власть предержавшие”. Нарушение связано с подменной грамматической связи: согласование заменено управлением, когда речь идет о *властях предержавших*. Современное нормативное употребление требует разграничения: для словосочетания *верховные власти (власти предержавшие)* характерно согласование, а для словосочетания *имеющие власть (власть имущие)* характерно управление.

*Родной язык****Русский язык в языковом опыте билингва***

Т.Ю. ПОЗНЯКОВА,
кандидат филологических наук

Виталий Коротич в интервью журналу “Дружба народов”, рассказывая о своей “лингвистической биографии”, называет родными два языка, причем определяет их не по собственной национальной принадлежности, не по своему происхождению и воспитанию, не по уровню владения этими языками, но по нарушающему все социолингвистические каноны и очень субъективному признаку “близости”: “Я украинец, ... киевлянин и вырос в обстановке природного двуязычия. Мне ближе был украинский язык, на котором я начал писать стихи еще в детстве... И русский язык – родной мне, как и украинский”. Подобную же нейтрализацию всех обязательных в социолингвистике признаков родного языка: степени владения, объема использования, порядка усвоения, национальности и др. – мы обнаруживаем и в педагогических записках Айдара Халима, и в автобиографической прозе Тимура Пулатова, Анатолия Кима, Фазиля Искандера. Более того, безразличие к национальным признакам родного языка может достигать такой степени, когда в распространенном представлении о тождестве родного и национального языков члены этой формулы меняются местами: именно по языковой принадлежности определяется национальность говорящего. «Говорю “русских”, потому что в мое время в России (и потом в эмиграции) *главным фактором, которым определялась национальность человека, был язык* (выделено мною. – Т.П.). Не религия, как в Индии, не происхождение, как в США, а язык, и ни европейски образованные балтийские бароны, ни евреи, праздновавшие свои праздники, ни армяне, ходившие в свою церковь, ни другие “меньшинства”, как их называют в Западном мире, родившиеся в России, не сомневались, что они *прежде всего* (выделено автором. – Т.П.) русские, – в этом вовсе не было ложного или ненужного патриотизма, – скорее это относилось к языку», – пишет Нина Берберова об «удивительной природе “русских людей”» в книге “Люди и ложи”.

Однако и сейчас такое нелогичное и ненаучное превалирование языкового опыта над национальным сохраняется. Так, около 50% некоренных (кроме русских) национальностей Каракалпакии: украинцы, белорусы, татары, корейцы, башкиры, чуваша, молдаване, азербайджанцы – считают русский язык (но не язык своей нации) родным. Примечательно, что порядок называния родных языков первым или

вторым прямо не связан не только с национальностью опрашиваемых, но и с последовательностью их усвоения: 13% опрошенных коми назвали родными языками русский и коми, хотя “давление среды” (73% информантов считают родным коми) заставляло ожидать обратную последовательность – как, например, в Татарстане, где при 80% ответов (все респонденты нерусские) были: “родной язык – татарский”, 4% назвали своими родными языками сначала татарский, а потом – русский. В Карелии же на фоне 70% нерусских, считающих родным языком русский, и только 5% – карельский язык, 22% назвали родными два языка.

Анализ мотиваций языковой самоидентификации билингвов обнаружил и другую интересную закономерность: “паспортные данные” информантов – возраст, пол, образование, профессия, место проживания (город или село), национальность – лишь в 4,5% оказываются не безразличными для указания, какой из языков является родным. “Лингвистическая биография” билингвов явно не совпадает с их социологическим портретом. Объяснение такому нелогичному, с точки зрения социологии и лингвистики, языковому выбору мы находим, как это ни неожиданно, у Иосифа Бродского в его статье “Об одном стихотворении”: “Это прежде всего драма собственно языка: неадекватность языкового опыта экзистенциальному...”

Но если языковой опыт неадекватен экзистенциальному, тогда и ориентация личности в “языковом мире” должна исследоваться не просто на социологическом уровне, регистрирующем “координаты” существования человека, а в другой системе отношений – на уровне языкового существования при двуязычии, не вне, а внутри “выстроенной” билингвом иерархии смыслов и ценностей в языковой модели мира.

Действительно, на социолингвистическом уровне, на котором обычно и интерпретируются указания информантов на родной или неродной для них языки, известное высказывание Марины Цветаевой “Пусть русского родней немецкий мне!” воспринимается как прямое признание, что для русской Цветаевой родным был еще и немецкий язык. Или же, если это выразить в принятых для обработки данных социолингвистических терминах: два родных языка; первый родной – немецкий, второй родной – русский.

Однако, обратившись к языковому опыту Цветаевой, к психологии ее языкового существования, мы понимаем, что речь здесь идет не о проблеме языкового выбора: для получившей трехязычное воспитание Цветаевой единственным родным языком всегда был русский. Не немецкий и не французский, а только русский язык в поэтических текстах Цветаевой находится в одном образном ряду со словами “родина” и “детство”, обладает той же системой ассоциативных понятий, что и *дом, земля, рябина, дорога, разлука, даль, боль, родной и млечный*. Осознание русского языка родным сохраняется даже при негативной аргументации – в “Тоске по родине...”, где образ родного языка возни-

кает в окружении требующих забвения и преодоления, но непреодолимых образов Родины, в системе требующих безразличного отношения, но, как *родимые пятна* различных и отличающих признаков *младенчества* и “русскости”: “Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным...” Что же касается немецкого языка, то он не родной, но – *родней*. Сравнительная, а следовательно, и оценочная, степень здесь характеризует не столько язык, сколько языковую личность Цветаевой, ее отношение к “данным” ей языкам и ее *языковой опыт*, который явно опровергает утвердившиеся в социолингвистике стереотипы языкового членения мира на “свой–чужой”: “чужой” немецкий произносится и в стихах, и в прозе Марины Цветаевой с тем же автоматизмом, как и “свой” русский, – произносится “как свое, блаженное, бессмысленное слово”. Другое дело, что ассоциации, порождаемые образами Родины и “родного”, связаны в языковом сознании Цветаевой только с русским языком.

Разумеется, в языковом опыте билингва русский язык может существовать в двух “ипостасях” – как родной и как неродной язык, тогда как для языковой идентификации монолингва главным критерием является устойчивое представление о тождестве двух языковых характеристик: “родной язык = русскому национальному языку”. Распространенная ассоциативная реакция билингвов – попытка выразить понятие двух родных языков, национального и русского, в образах “материнский” и “отцовский”: материнский язык – язык чувства/сердца, чувственный язык, язык души, природный язык; отцовский язык – язык мысли/мыслительный, впитываемый и осваиваемый через разум, мозг, язык духа, духовный, рациональный язык – наводит на мысль, что у двуязычной личности концептуализация родного и неродного языков происходит совсем иначе, чем у монолингвов, и основывается на иных, выработанных “двуязычным” опытом, представлениях.

Обратимся к тексту, в концентрированном виде воплощающему представления о родном и неродном языках в комплексе ассоциативных и оценочных обозначений. Текст представляет собой фрагмент интервью белорусского поэта Алеся Рязанова (т.е. является записью устной речи): «Приходят к вам домой девушки-счетчицы и начинают задавать предусмотренные инструкцией вопросы. Вы отвечаете, они записывают. Но когда дело доходит до вопроса о родном языке, вы замечаете, что девушки в соответствующую графу что-то вписывают сами. Вы интересуетесь: почему? Девушки объясняют: потому что вы с нами изъясняетесь по-русски. Вы пытаетесь им возразить, сказать, например: 1) я это делаю потому, что и вы ко мне обращаетесь по-русски; или 2) дома я разговариваю по-русски, а вот на работе, в кругу друзей...; или: 3) я только недавно очнулся от беспамятства и начал сознавать, что мой родной язык, 4) язык моих дедов и прадедов – белорусский; или: 5) когда приезжаю домой, в деревню, как и все там, по-белорусски,

ну и в Минске тоже – как и все; или: 6) хотя я и разговариваю по-русски, но родным языком считаю белорусский, 7) потому что я белорус... 8) И как я считаю, так и есть на самом деле, никакие другие “уточняющие” и “вспомогательные” факторы не должны вмешиваться, ибо, 9) и это самое главное, язык – фактор моего самосознания».

Как видим, процессы концептуализации родного и неродного языков здесь легко прослеживаются: они соответствуют тому, как организованы суждения (для удобства анализа мы обозначили их арабскими цифрами) о языке. Структура аргументации – перечисление признаков двух стержневых образов, выражающих ценностные для билингва значения языка – “сознание” и “общение”. Семантическое поле **сознание** воплощается в единицах: *сознать* 3, *очнулся от беспамятства* 3, *язык моих дедов и прадедов* 4, *считаю родным языком* 6, *как я считаю, так и есть на самом деле* 8, *я белорус* 7, *язык – фактор моего самосознания* 9. Семантическое поле **общение** представлено обозначениями действий, средств, способов, условий и участников коммуникации – т.е. сведено лишь к номинации “кодов коммуникативного акта”: *изъясняюсь по-русски* 1, *и вы ко мне обращаетесь по-русски* 1, *дома я разговариваю по-русски* 2, *говорю, как и все* 5, *хотя и разговариваю по-русски* 6, *в Минске тоже – как и все* 5, *вы ко мне* 1, *вы с нами* 1.

Нетрудно заметить, что с родным языком связано представление о “самосознании”, о “сознании”, тогда как русский язык характеризуется единицами, принадлежащими семантическому полю *общение*. При этом неродному русскому языку отводится всего лишь инструментальная роль – быть средством общения (и это несмотря на то, что, судя по тексту, семейным и “домашним” языком автора все-таки является русский): *изъясняться, обрщаться, разговаривать по-русски*. Показательно в этом ряду и отсутствие глагола “говорить”!

Все перечисленные инструментальные признаки языка оказываются ненужными и неважными для выбора родного языка: “*Хотя я и разговариваю по-русски, но родным языком считаю...*” 6. Более того, они даже отвергаются как затрудняющие языковую идентификацию, так как не исходят из “языкового опыта” говорящего: “*уточняющие*” и “*вспомогательные*” факторы не должны вмешиваться...” 9. Основой для концептуализации родного языка является – “и это самое главное” 9, по мнению Алеся Рязанова, – лишь “фактор самосознания” 9, когда родной язык мыслится и описывается не изолированно и не по отношению к характеру языковой ситуации, но как неотъемлемое свойство личности, наделяясь атрибутами “памяти” – “*очнулся от беспамятства*” 3, “истории” и “традиции” – “*язык моих дедов и прадедов*” 4, этнического сознания – “*потому что я белорус*” 1.

Психолингвистический анализ суждений двуязычных информантов (нерусских) о родном и неродном русском языке, из которых на предварительном тестировании 16 человек назвали родным язык своей на-

циональности, 7 человек – русский, 6 человек – два родных языка, из них: 3 человека – национальный и русский, 3 человека – русский и национальный, подтвердил, что в основе языкового выбора находятся те же, выявленные нами комплексы представлений о родном и неродном языках. Выраженные лексически, эти представления совпадают по смыслу независимо от национальности респондентов или же от “национальности” названного родного языка.

Отчетливо просматривается тенденция “отыскивать” признаки родного языка в одной области значений – **мышление, сознание** – которая противопоставляется (часто демонстративно) представлению о неродном языке как средстве или инструменте общения. Наделенный атрибутами сознания, психической деятельности, родной язык мыслится в одном ряду со словами “душа”, “чувство”, “память”, “ощущение”, “жизнь” – т.е. связывается с областью значений, выражающих психологию личности. И наоборот, с неродным языком ассоциируются в первую очередь “полезные” и “инструментальные” признаки “средства общения” – степень владения, сферы, условия и цели использования, при этом язык описывается по отношению к коллективному пользователю, но не к индивидуальному: *служит людям/ народам, служит для общения между нациями, народами, людьми* и т.п.

Есть все основания говорить о наличии в языковом сознании билингва единой модели языковой идентификации а не, как принято считать, разнообразных комбинаций разнородных признаков родного языка, “извинительно” относимых исследователями к фактам наивного языкового членения мира. Эта модель задает две интерпретации языкового выбора, которые могут служить объективными критериями при социолингвистическом обследовании, поскольку не зависят ни от личной точки зрения исследователя, ни от этносоциальных установок общества:

1) **родной язык** обладает следующим комплексом оценочных и метафорических обозначений, повторяющихся (с незначительными отклонениями) у всех респондентов: *душа, дух; жизнь, опыт, жизненный путь; воспитание, детство, юность; самовыражение, самосознание, сознание, память; чувство, эмоции, ощущение; корни, народ, род, история, материнский язык дедов и прадедов, язык семьи; свой, мой, кровный, индивидуальный, личностный; ощущаю, думаю, чувствую, считаю, называю;*

2) **неродный язык** мыслится как категория коллективного опыта или общественного сознания и, соответственно, описывается лексическим множеством с инструментально-прагматической (обилие глаголов здесь показательно) смысловой доминантой: *средство общения, способ общения, для общения, для работы, чтобы получить образование; распространенный язык, все говорят на нем; язык науки/культуры/техники/торговли/великой литературы; основной/второй/об-*

ций язык; межнациональный/международный язык, между людьми/нациями/народами; нужный, необходимый, без него невозможно/нельзя; владею, изъясняюсь, говорю, обращаюсь, разговариваю, пишу, читаю, понимаю, знаю, служит для, приспособленный, пригодный, подходящий, удобный; так получилось, так сложилось, навязали, выбрали, исторические/географические/ политические причины/условия.

Все приведенные оценочные и образные выражения относятся к одному и тому же – русскому – языку, который:

1) может в языковом опыте билингва входить, по выражению Ю.Д. Апресяна, в “личную сферу говорящего” как неотъемлемое свойство личности – и тогда он осмысливается и заявляется в различного рода анкетах, интервью и т.п. как родной язык (первый, второй или даже “единственный”);

2) может быть исключен из личной сферы языкового опыта билингва как “средство общения”, нужное для социализации говорящего – и тогда он осмысливается как “полезный”, “нужный” и т.п., а при опросах указывается как неродной язык.

Заметим, кстати, интересную особенность языкового опыта билингва: неродной язык ни в одном из имеющихся в нашем распоряжении опросов и интервью не имеет порядкового номера (мой первый/второй/ третий неродной язык) – тогда как родных языков может быть два, а иностранных сколько угодно много. По-видимому, в языковом сознании билингва присутствует непосредственное, интуитивное понимание неидентичности русского родного языка и русского неродного языка, используемого как “средство общения”. Различные осмысления роли русского языка в языковом опыте билингва, кем бы они ни осуществлялись и какие бы ни имели изначальные мотивации, всегда приводят к аналогичным результатам – фиксируется, а затем и концептуализируется изменение русского языка при переходе его в состояние “неродной язык”. Сопоставим наиболее типичные способы аргументации, извлеченные из общественной дискуссии “Нация. Язык. Культура” (журнал “Дружба народов” за 1988–1992 гг.):

1. Негодование Г. Гусейнова (и соответствующий выбор лексики) – вызвано изменением русского национального языка при переходе его в разряд языков межнационального общения, что оценивается автором крайне негативно: “Язык в своем статусе языка управления и межнационального, прости Господи, общения стал куда более пригоден для написания казенных бумаг, чем для писания стихов ... Но опытом языка, изнасилованного собственной государственностью, не поделишься с носителями других языков”.

2. Пафос выступления Дмитро Павлычко – в предостережении от опасности “превращать не только русский, но и украинский в адаптированные, приспособленные к современным политическим нуждам языки...”.

3. Атнаер Хузангай, видя главное отличие в адаптированности “второго” русского языка, восклицает: «Насколько “язык межнационального общения” далек от великого русского языка!»

4. Алесь Рязанов фиксирует различия между родным и неродным языками: “В нем (родном языке. – *Т.П.*) есть какое-то излишество, ненужное коммуникативным отношениям и насущным проблемам. Но в этом излишестве – душа языка”.

Совпадение оценок русского языка прямо указывает на двойственность его существования в языковом опыте билингва: он мыслится одновременно и как неродной, и как родной язык. Родной русский язык для билингва сопоставим по объему и выразительным средствам с национальным русским языком (4,2,3), в нем есть и “душа” (4), и “опыт” (1). “Превращенный” (2) в неродной, русский язык приобретает качества упрощенности и инструментальности: в нем нет “излишеств” (4), “души” (4), он не “пригоден для писания стихов” (1), т.к. “адаптирован ... к современным политическим нуждам” (2), нужен лишь для осуществления “коммуникативных отношений” (4) – он “далек” (2,1,3) от русского национального языка, и, главное, это язык без “опыта” (1).

Но тогда родной русский язык (первый, второй или “единственный”) должен исследоваться не как “общий язык”, “средство межнационального общения”, адаптированное к общественным нуждам, а как составляющая личностного языкового опыта билингва, определяющая его языковое существование. Эта “личностная” природа родного русского языка в ее противопоставлении “общему языку” очень точно определена Владимиром Набоковым в его предисловии к русскому изданию “Других берегов”: “Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого – или Иванова, няни, русской публицистики – словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия”.

Работа выполнена при финансовом содействии РГНФ, проект № 96-04-06339.

Из архива ученого



Мы публикуем статью, извлеченную из архива академика Никиты Ильича Толстого (15.IV.1923–27.VI.1996). Проблема, которой она посвящена, занимала его с середины 70-х годов. Материал, рассматриваемый в статье, послужил основой для нескольких докладов, в частности, “О зависимости семантики древнерусских слов от текста” (Ларинские чтения. Ленинград, январь 1983), “О церковнославянских и народно-диалектных словах *страсть*, *страстьнь*, *бестрастьнь*, *страшный* (*страшной*) и др.” (Совещание по древнеславянской лексикологии и лексикографии, Институт славяноведения и балканистики, ноябрь 1983). Работу, предлагаемую вниманию читателей, Н.И. Толстой не считал законченной, он продолжил собирать и анализировать факты, имеющие отношение к ее тематике. Однако и в незавершенном виде статья представляет серьезный интерес как для специалиста по истории славянской лексики и семантики, так и для широкого читателя.

Публикация этой статьи являет собою дань памяти о безвременно ушедшем от нас замечательном исследователе славянского слова и славянской культуры.

Страсть, бестрастность, страшной...

Н.И. Толстой

Известная статья В.В. [Виноградова] “Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры” [ВЯ. 1968. № 1; также вошла в сборник: Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 265–287. – *Ред.*] была, к сожалению, последней статьей нашего незабвенного учителя, посвященной проблемам русской исторической лексикологии и лексикографии. Статья эта, написанная как отклик на проспект древнерусского словаря старшего периода (“Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи. М., 1966), по своим масштабам и поставленным в ней проблемам перешла далеко границы обычного критического разбора книги-проспекта и оказалась одновременно и итогом многолетних трудов и размышлений В.В. [Виноградова] по русской исторической лексикологии и программой дальнейшего развития этой дисциплины. Сейчас нет времени и, я полагаю, даже нужды перечислять основные положения этой статьи, затрагивающие и вопрос характера древнерусского и древнеславянского (церковнославянского) языков, и их отношения к современному русскому языку, и вопрос соотношения древнерусского и древнеславянского языков с древнерусской литературой, и вопрос источников (памятников) для древнерусского словаря и ряда других проблем.

Мне хотелось бы кратко напомнить, что среди прочих проблем В.В. [Виноградов] серьезно ставил проблему исторически точного определения значения слова, адекватного пониманию этого значения носителями книжного языка в определенный временной период применительно к определенному кругу древнерусских (древнеславянских) текстов. Всякое неадекватное, попросту неточное, определение значения В.В. [Виноградов] называл историко-этимологическим каламбуром, и примеры таких “историко-этимологических” каламбуров обильно представлены в его статье.

В.В. [Виноградов] писал: “Общность и единство древнерусского языка с современным при наличии между ними естественных и существ-

венных расхождений создает своеобразные опасности и большие трудности при семантическом истолковании однородных или близких по структуре слов. Главная опасность состоит в определении значения не на основе знания соответствующего текста в целом, а путем *п р о з в о л ь н о г о* [разрядка моя. – Н.Т.] истолкования картотечного примера, отрезка, вырванного из контекста” (стр. 15). И далее: «Самый большой лексикографический недостаток – это антиисторические подстановки под созвучные древнерусские слова современных их значений или субъективные наивно-этимологические догадки о “внутренних формах”» (стр. 16). Из множеств примеров, приводимых В.В. [Виноградовым], напомним только два. Это толкование слов *бесплавный* и *бесплътне*. Авторы проекта словаря древнерусского языка толкуют слово *бесплавный*, как “неколеблющийся”, находя его в тексте “Торжественника” (XII–XIII в.) – “Хотяй бо бесквѣрньгъмъ житиємъ пожити... бесплавною мыслю и безопытъгъмъ умъмъ, простою мыслю, тако бо найдеть на нь обиле благодать святаго духа”. Но на самом деле, как поясняет В.В. [Виноградов], *бесплавный* значит совсем не “неколеблющийся”, а “не испорченный житейским плаванием”, “т.е. не поддавшийся “треволнениям” греховного быта” (стр. 16). Перевод слова *бесплавный* как “неколеблющийся”, по мнению В.В. [Виноградова], – очень неудачное приспособление значения слова *бесплавный* к современным понятиям, т.е. наивно-каламбурное его истолкование (стр. 16). Аналогичный случай со словом *бесплътне*. Оно толкуется авторами проекта, как “бесплотность, бестелесность”. Но оба приведенных контекста из Слов Григория Богослова (XIV в.) этому толкованию противоречат: “Кто оубо паче оного или девство почте, или бесплътне устави”, или “Телесе смирение... добродетели придающе, девы бесплътне, жены украшение”. В.В. [Виноградов] (имевший, как известно, помимо филологического и превосходное теологическое образование) поясняет, что *бесплътне* означает – “освобожденность от плотских (чувственных) страстей или отсутствие их” (стр. 17).

Таково положение с некоторыми современными наивно-каламбурными истолкованиями, с историко-этимологическими каламбурами. Лексиколог-славист их должен выявлять, критически оценивать и исключать из словарей и научной практики как ложные толкования, неверные значения. Гораздо сложнее обстоит дело со случаями подобно-го народно-этимологического, или “наивно-каламбурного” истолкования в прошлом, в Древней Руси. Такие случаи не могут быть отброшены как “ложные” или неправильные с этимологической точки зрения, а должны быть приняты как факт исторической лексикологии, факты особого рода, требующие не только адекватного “народно-этимологического” толкования, но и объяснения, к а к в ту или иную историческую эпоху на Руси возникла или могла возникнуть “наивно-этимологическая” догадка о “внутренней форме” конкретного слова. Приведу

только один пример со словом *бестрастный*, обращаясь также к словам *страстный*, *страсть* и *страшный*, *бесстрашный*, *страх*.

В семнадцатитомном “Словаре современного русского литературного языка” слово *бесстрастный* толкуется как “не подверженный страстям, не проявляющий страстности; невозмутимый, относящийся ко всему с холодным спокойствием”, *бесстрастие* – как “отсутствие страстей, страстности в характере, в суждениях; невозмутимость, холодное спокойствие”. *Страстный* 1. “очень сильный, бурный, безудержный в своем проявлении”; 2. “относящийся ко всему с воодушевлением, горячностью, вносящий во все пылкое, сильное чувство”; 3. “связанный с сильной, безудержной любовью, страстью”; 4. “способный испытывать чувство сильной любви, страсти”, а *страсть* – как “сильное безудержное чувство, с трудом управляемое рассудком”; 2. “воодушевление, горячность в отношении к чему-либо; душевный подъем, пыл”; 3. “Сильная, безудержная любовь с преобладанием чувственного влечения”; 4. обычно *мн. устар.* “страдание, мучение” (Страсти Господни); 5. *простореч.* “страх, ужас”. Приблизительно те же значения, только в более обобщенном виде, с сокращенными толкованиями и примерами даются в 4-томных словарях под ред. Ушакова и под ред. Евгеньевой и в одготомном словаре Ожегова.

Просторечное значение *страсть* “страх, ужас” проникло на периферию литературного языка из диалектов. В некоторых русских говорах оно возникло, надо полагать, из народно-этимологического сближения слова *страсть* со словом *страх*, о чем я скажу дальше. Пока же хочу отметить, что церковное понимание значения *безстрастный*, т.е. значение, соответствующее лексическим нормам церковнославянского языка до XX века – несколько иное – “не побежденный страстями” (Дьяч.), соответственно *безстрастїе* – “неугождение страстям” (Дьяч.). Ср. объяснение В.В. [Виноградовым] слова *бесплътїе* как “освобожденность от плоских (чувственных) страстей или отсутствие их”, а не “бесплотность”; *беславный* “не испорченный житейским плаванием”, а не “неколеблющийся”.

Любопытно, что значения слов *бесстрастный* и *бесстрастїе* в современном русском литературном языке (без его просторечного варианта) развились из старославянского значения *бестрастѣнь* “без страдания, *apatheēs*, *impassibilis* – толико пострадавъ пребы бестрастѣнь Супр. 436,19 (+ Синайск. Евхологий). Бестрастїе “жизнь без страдания”, *apatheia*, *vita sine passione* – възведи ны съ собою. на свое бестрастѣнь. Евхол. Син. 65^a, 20.

В более поздних переводах, однако, слово *страсть* в церковнославянском языке уже имело ряд тех же значений, что и в современном русском – *страсть* (*patĥos*, *patĥema*) – страдание, мучение; сильное желание чего-либо запрещенного, болезнь; плотская страсти – “плотские наслаждения” (Послание апостолов. Дьяч.).

Ни в каких старославянских текстах, однако, слово *безстрастнь* не означало “лишенный страха, бесстрашный”. Это специфическое значение развилось на русской почве. Тем не менее древнерусские памятники фиксируют это значение: следовательно, древнерусский язык в определенный период знал такое “наивно-каламбурное” толкование, о чем свидетельствуют некоторые тексты и записи (почти стенографические) дискуссий о значении этого слова.

Так, согласно “Словарю русского языка XI–XVII вв.” в Строгановской летописи (1582) находим: “Придоша воины в ту Сибирскую землю безстрасны и многие татарские городки и улусы повоевали”, а в “так называемом Инем сказании” (XVII в.) отмечено, что “они же казакы, зломыслены и коварливы и бестрасны и к нужамъ терпеливы, отсиживалися въ норахъ земныхъ”.

О слове *безстрасный* “бесстрашный, не преисполненный страха, свободный от страха” велась дискуссия 19 февраля 1627 г. в Москве на Государевом казенном дворе в нижней палате. В этот день обсуждался текст “Катехизиса”, иначе “Книги Оглашение”, привезенного кортецким протопопом “из Литвы” Лаврентием Зизанием московскому патриарху государю святейшему кир [господин (греч. *kýrios*)] Филарету. Филарет сам не участвовал в дискуссии, а послал “Богоявленского игумена, что на Москве, из ветошного ряду” Илью, да Гришку от книжные справки. И прение шло перед “государевым боярином князем Иваном Борисовичем Черкасским, да перед дьяком думным Федором Лихачевым”. Среди ряда богословских и филологических вопросов в прении был и такой эпизод.

“На завтрех февраля въ 19 ден велел государь святейший кир Филарет, патриарх московский и всеа Руси, игумену Илие да Гришке от книжные sprawy быти у протопопа Лаврентия на подворье и говорити с ним о той же книге Беседословии. Как мы к нему приехали и первые спросил нас: Как вы называете и что именуете веру свою? И мы ему отвечаали: Веру нарицаем христову, преданную нам святыми апостолами его и утвержденную святыми отцы, иже на седми святых вселенских соборах сошедшихся. Протопоп [т.е. Лаврентий Зизаний. – *Н.Т.*] рече: Ино то стала вера Христова; как же ты ее назовеш от своего лица? егда ты спросит: что твоя вера? и ты ему как наречешь? Мы ж [т.е. игумен Илья и справщик Григорий. – *Н.Т.*] отвечахом ему сице: Отвечаем: вера есть о Боже несумненное ведание и исповедание о нем *безстрастное* [всюду выделено мною. – *Н.Т.*]. Протопоп, подумав много, рекл: Что есть безстрастное исповедание, наведею: *страсти* именуемы есть *похоти*. Мы ж отвечахом ему: Не о *похотех* тутто слово, но о *безстрастии*, сиреч без *страха исповедати Бога, не боятис* судей страшных, ни мучителей лютости, ни мук всяких прещения, но всяко со дерзновением многим исповедати того, яко вси мученицы святии. Протопоп рече: Прямо так добро” (Прение литовского протопопа Лаврен-

тия Зизания с игуменом Илисю и справщиком Григорием по поводу исправления составленного Лаврентием Катехизиса // Летописи русской литературы и древности. Кн. 4-я. Москва, 1859. С. 88–89). Здесь значение слова *безстрастное* достаточно ясно объяснено.

К нашему счастью, сохранилась и другая стенограмма (XVI в.), в которой также отражен богословско-филологический спор о значении слов *безстрасно* и *нестрашно*, *безстрашное*. Речь идет о судных списках Максима Грека и Исаака Собаки. Суд, как известно, происходил в 1525 году в Москве, в палате великого князя Василия III Ивановича в присутствии отца его Даниила, митрополита “всех Руси”, братьев Василия III, князей Юрия и Андрея, архиепископов, епископов, архимандритов, бояр и вельмож. Привожу интересующий нас эпизод по недавно найденному сибирскому списку: «И владыка Дософей спросил Максима: книги наши з греческих же книг перевожены и писаны, и ты их чернил и гладил [т.е. исправлял. – Н.Т.], а сказываешь, что книги наши зде на Руси не прямы, и где было в наших книгах написано: “безстрастно божество”, и то загладил, а вместо того написал: “нестрашно божество”, а в другом месте написал еси: “безстрашно божество”. И Максим рек: То, господине, опись есть, и прописался то писец, и вы то, господине, исправливайте сами». (С очень незначительными текстологическими вариантами этот же отрывок находим в Погодинском – с. 155–156 – и Барском – с. 178 – списках. См. “Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки”. М., 1971 г. Сибирский список. – с. 108). Как и Лаврентий Зизаний, Максим Грек согласился с властью имущими, но, как и Лаврентий Зизаний, он думал иначе, чем правящее московское духовенство. Само правящее духовенство определяло слово *безстрашное* в XVI веке по-разному, о чем еще будет речь впереди.

Отметим сейчас только одну черту Максима Грека как переводчика. Оказавшись в Московской Руси, он во многих случаях, когда нужно было сделать выбор между двумя словами-синонимами, между двумя значениями, склонялся к русскому, московскому варианту, варианту, более близкому к русской разговорной речи. Так было и в случае, когда по свидетельству Зиновия Отенского, ученика Максима Грека, Максим заменял в Символе веры слова *чаю воскресение мертвымъ* словами *жду воскресения мертвымъ* (Зиновий Отенский разъяснял потом разницу в значении этих слов), так было и в иных случаях, например, при переводе псалтыри (вместо *аще видяще татя течаши с ним* Максим давал *аще видел еси татя, текл еси с ним*; вместо *внегда разнствит небесный цари на ней* – Максим писал – *егда разделит небесный царей на ней* и т.п.).

Окончив на этом основное изложение материала, перейдем к некоторым выводам, которые можно сделать, сопоставляя значения слов *страсть*, *страх*, *бесстрастный* и *бесстрашный* в старославянском, древнерусском и современном русском языке.

В русском литературном языке XVIII в. завершился процесс “секуляризации” старославянизмов, т.е. слов, присущих древнеславянским текстам. Из высшей и текстово ограниченной сферы – сферы религиозной философии и символики они, переходя в более низшую – “светскую” и даже повседневную сферу, меняли свою семантику. Пользуясь терминами современной семасиологии, скажем, что в ту пору смена денотата (референта) вела к смене значения (означаемого). Происходила сначала замена интегральных признаков (изменялся вид страдания, болезни), а затем новый интегральный признак становился дифференциальным: не “страдания плоти, возвышающие дух” (*страсти Христовы*), а “страдания плоти, принижающие дух и оскверняющие плоть” (по представлениям религиозно-этическим), или “страдания плоти из-за невыполненного желания” (по представлениям нерелигиозным). Здесь совершался последний шаг транссемантизации – мотив (сема) “страдания” исчезал и оставалось лишь “безудержное желание, плотское влечение”, иным словом – *похоть*.

На Руси западной этот процесс завершился, вероятно, раньше: уже Лаврентий Зизаний знал, что “страсти именуемы естъ похоти”. Хотя в своем “Лексисе” Лаврентий Зизаний дает три омонима: *страсть* взрушенѣ, е’фектъ; *страсть* бедѣ; *страсть* оупадок.

Предпосылки же для перехода *страсть* “мучение” → *страсть* “похоть” были еще в древнеславянском (старославянском) языке и в греческом языке византийской эпохи (см. доклад Е.М. Верещагина [Выявление смысловых связей между словами первого литературного языка славян с помощью методики цепочки // Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тез. конф. Вып. 2. М., 1975. – Ред.]).

Семантические же изменения слова *безстрастный* в русском языке XVI–XVII вв., точнее в литературном языке Московской Руси, первоначально, видимо, не выходили из сферы церковно-философских представлений и отражали скорее, если привлекать социолингвистический аспект, представления духовно-монастырской подвижнической среды, возможно, близкой к нестяжателям, заволжским старцам, или, во всяком случае, причастной к прениям о вере. Понимание *безстрастный* как “лишенный страха” было “наивно-каламбурным”, как сказал бы В.В. [Виноградов]. Оно сменило более раннее старославянское “безболезненный”, известное даже в тексте Великой ектеньи (ср. христианскы кончати животъ нашъ, бестртны и непостыдны мирны – Нов. Софийск. служебник XV в.). Смена значения “безболезненный” → “бесстрашный” могла наступить по экстралингвистическим причинам, или, во всяком случае, быть поддержанной ими. В условиях возрастания воинственной религиозности в XVI в. и в первой половине XVII в., ярко преломившейся затем во второй половине XVII в. в бунтарско-аскетическом духе протопопа Аввакума, Никиты Пустосвята, старца Елифа-

ния и др. догмат “вера есть о Бозе несумненное ведание и исповедание о нем бесстрастное”, с пониманием *бесстрастное* как “безболезненное” мог казаться слишком ослабленным, мало подвижническим. Многими в ту пору, надо полагать, подвижничество воспринималось уже не в исихастском духе, как – духовная отрешенность от мира и духовное беспрепятственное – безболезненное слияние с божеством (обычно путем духовного созерцания и безмолвствования), а как готовность в любой час пострадать за веру, принять физические муки без колебания, слабоволия, страха. Такое понимание слова *бесстрастный* “бесстрашный” было характерно для высшей московской патриаршей среды в пору после Смутного времени в конце первой четверти XVII в., а веком раньше митрополит всея Руси Даниил и владыка Досифей придерживались еще старых канонических старославянских представлений о значении слова *бесстрастный*. Досифей, как отмечалось выше, видел разницу в словосочетаниях “бесстрастно божество” и “бесстрашно божество”.

И все же трудно в достаточно категорической форме утверждать, что значение *бесстрастный* “лишенный страха, бесстрашный” возникло на русской почве лишь к XVI в. Один спорный пример из Супрасльской рукописи говорит, как будто, в пользу древности такого значения: нъ доколе наше бестрастие (вместо, бестрашие?) льстиши о чловеце (quousque tandem fiduciam nostram per ambages protrahes. Супр. 436, 30 – доколе же нашу уверенность ты будешь затягивать (тянуть) окольными путями). Лишь поиски новых подобных примеров в древних текстах позволяют точнее осветить этот вопрос.

Тем не менее остается непреложным факт закрепления семемы “бесстрашный” за лексемой *бесстрастный* в отдельных русских текстах XVI–XVII веков. Такое закрепление могло быть вызвано и обусловлено не только определенными теологическими представлениями, как говорилось выше, но и соотношением, корреляцией с народно-диалектной сферой языка, зависимой во многом от народно-языческих религиозных представлений, от того, что принято, обычно не совсем верно, называть народными суевериями и предрассудками. Народные обычаи и обряды имели тоже свой язык, который был так же сакрален, как и старославянский, но резко противопоставлен ему по функции, а отчасти и по форме (ср. в данном случае, например, *страсти Христовы* и *страсти-мордасти*).

В этом народно-демонологическом языке был известен термин *страшнѡй* в значении “исполненный страхом перед бесами, бесовский”. Именно таким прилагательным характеризуются кое-где на Руси святочные дни, Святки (от Сочельника до Богоявления), дни наибольшего разгула нечистой силы и разных, в том числе и сезонных, демонов (летом этим дням соответствует лишь одна ночь – под Ивана Купала, реже под Петровки). Эти святочные дни называются у сербов *не-*

кристени [некрещеные] *дани бабини*, *дани*, у болгар *караконджови* [караконджо (караконджул) – злой дух в виде коня с человеческой головой или голого человека, покрытого колючками. – *Ред.*] *дни*, *мръсни* [нечистые], *дни*, *погани дни*, на русском Севере, Урале и в Сибири – *страшные дни*. Прилагательное *страшнѡй* может быть применимо к бесу и иметь значение “бесовский”. Так, записанная в Вологодском крае в конце прошлого века былина-сказка “Страшный (вероятно, *страшнѡй*) ребенок” повествует о ребенке, родившемся в результате колдовства с двумя корешками, родившемся и тут же пожелавшем съесть свою мать.

Слово *страстнѡй*, как принадлежащее церковно-бытовому обиходу, как христиански сакральное и при значении “страшный; неисполненный страхом” могло противопоставляться слову *страшнѡй*, как принадлежащему колдовским, бесовским делам, как язычески сакральное с тем же значением “страшный, неисполненный бесовского страха, страха, исходящего от бесов”, подобно тому, как заимствованное из греческого слово *ангел* в зависимости от его прочтения могло стать антонимичным с религиозной точки зрения *ангел* “ангел, представитель небесной рати” и *аггел* “бес, черт, представитель сатанинского племени”. Ср. возможность противопоставления *страшных дней* – *страстным дням* (седьмая неделя Великого поста).

Нами довольно хорошо изучены церковнославянизмы и нецерковнославянизмы (или антицерковнославянизмы – типа *моромор*) с морфологической и историко-фонетической стороны, хуже со стороны словообразовательной и синтаксической и еще хуже со стороны семантической, когда она выступает как единственный признак славянизма. А именно к такому изучению славянизмов призывал нас В.В. [Виноградов] еще в 1927 г. в статье “К истории лексики русского литературного языка” (“Русская речь”. Новая серия. I. Л., 1927).

Публикация
доктора филологических наук
А.Ф. Журавлева



Как называли одежду в старину

*Е.В. АНТОШЕНКОВА,
кандидат филологических наук*

Трудно переоценить роль одежды в нашей жизни. Она не только защищает нас от холода и непогоды, выполняет гигиеническую функцию, но и порой дополняет внешность человека, помогает определить его возраст, вкус и даже род занятий. В древности по одежде можно было даже узнать, из какого селения человек, а по тому, во что одета женщина, можно было сказать, замужем она или нет. Разнообразие одежд в древности поражает современного человека. Памятники письменности тех далеких лет достаточно полно отразили названия различных видов одежды наших предков, которые чаще всего фигурировали в деловой письменности, например: “Платья у моей жены княгини Ульяны – летник полосат, камчат, вошвы [деталь летника. – Е.А.] шиты золотом да серебром и летник, камка [вид шелковой ткани. – Е.А.] червчата с кружевом, вошвы бархат зелен с золотом”; “Жену Анну Константиновну... вырядили в светло-зеленую шубу на соболях, опушенную бобром, украшенную широким золотом кованым кружевом и 16-ю серебряными золочеными пуговками”; “Вынули из короба... жу-

панов три, куртку, кожух новый, сапог две пары сафьяновых, рубахи, плахты”.

В памятниках письменности, однако, встречались не только названия конкретных видов одежды, но и общие, родовые названия. Самым распространенным из них было, конечно, слово *одежда*.

Причем, использовалось оно чаще в книжной речи, в народной же и в памятниках деловой письменности был распространен в большей степени не старославянский вариант (*одежда*), а его собственно-русский эквивалент – *одежа*: “И на обувь, и на одежду нам сиротам не дает”. Слово *одежа* встречалось также и в литературных памятниках. Так, в знаменитом произведении древнерусской литературы “Повесть о Дракуне” грозный воевода дает такое наставление нерадивой женщине: “Он [муж. – Е.А.] должен сеяти, и орати, и тебе хранить, а ты должна на мужа своего одежду светлу и лепу чинити”. Кроме того, в деловой лексике того времени была широко распространена уменьшительная форма от названия *одежа* – *одеженка*: “Испродав с себя и с женишки своей всякую одеженку и посудинку заплатил ему”.

Словарь русского языка XI–XVII вв. поместил наименование *одежа* (*одежда*) в значении “то, чем покрывают, одевают тело” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 12). В.И. Даль дал такое толкование данному слову: “все, чем человек одевается; платье, облачение, окрута (кроме шапки, рукавиц и обуви)”.

Название *одежда*, кроме традиционного значения, имело также значение “церковное покрывало”: “На налое одежда, дороги [вид ткани. – Е.А.] желтые, ветхи гораздо и подраны, без подкладки”.

Примеры со словом *одежда* имели яркие определения, характеризующие сам вид по различным аспектам: по цвету и названию материала, из которого она изготовлена – *белая, кирпичная; парчовая, свиланная* (шелковая): “С обеих сторон торна стояло по два сановника с железными бердышами на золотых рукоятках, в бархатной белой одежде, подбитой и обложенной горностаями”; “По левую руку царя стоял Дмитрий Шуйский с обнаженным мечом, в парчовой одежде, подбитой соболями”; “Златыми монистами и свилаными одеждами украшаются”. По внешнему виду и качеству – *золотая, худая*: “Вшед к ней восвода с вельможами, одеван во златую одежду”; “Яко злодеи предстоя пред очима всех в одеждах худых”.

По назначению – *смирренная, чернеческая, жестокая*: “И снял с него драгие ризы и всю конскую збрую, и облече на него смиренные свои одежды”, “И тоя же ночи облекоша его во всю чернеческую одежду”; “И одежду жестокою крыти багреницею”. Встречаются экспрессивные определения – *одежды прекрасные, одежды преиспращенные* (очень красивые, украшенные): “На едину сторону отообраша жен и детей своих в прекрасных и преиспращенных одеждах”.

Особенно дорогую и почетную одежду называли *ризами*: “Не ходи-

ти им в овчинных кожах, но в красных ризах". Однако в некоторых случаях слово *ризы* выступало в значении "любая верхняя одежда", поэтому могли встречаться и такие примеры: "Вшед же царица в мечеть, где лежаще царь ея умерший, и сверже златую утварь с главы своея и разодра верхние ризы своя"; "Нашла самого царя казанского в истерзанных и худых ризах".

Иногда встречались примеры в древнерусской письменности, когда синонимом названия одежды было слово *красота*. Оно употреблялось в некоторых литературных источниках, заменяя слово *одежда*: "Сего ради урядився доброобразными красотами и царским явлением украшена".

В современном русском литературном языке слово *одежа* отошло на второй план и употребляется как просторечное, а основным является *одежда*, которое имеет такое значение: "Совокупность предметов (из ткани, мехов и т.п.), которыми покрывают, облачают тело. Совокупность предметов, которые надевают поверх белья; платье" (Словарь русского языка. М., 1982. Т. II).

Для обозначения одежды как понятия использовалось и слово *платье*. В XVI–XVII веках оно еще не было одним из видов одежды, а в значении общего, родового понятия употреблялось даже чаще, чем слово *одежда*. Приведем некоторые примеры из памятников письменности старорусского периода: "Стыдно мне с богатыми людьми в пиру сидеть, на них платье цветное и хорошее, а на мне худое и то чужое"; "На девке платье: кортель, летник, да ходильного платья у нее: кортель белый, полтора рубля, летник атласен полосат, шуба лунская червчата"; "Ходят царевны по царевичах в печальном платье шесть недель, а больша того не бывает"; "По указу Великого Государя велено делать воронежцам посадским людям французское платье, а женам их платье голанское".

Название *платье* имело несколько уменьшительных форм, которые были довольно широко распространены. Так, например, в случае, связанном с прошением, есть уничижительный вариант: "Вели, государь, мне выдать на платьишко" (1635 г.). Иногда одежду называли и любовно *платейце*. В известном памятнике XVII века "Домострое" есть такие строчки: "Береги от грязи и от дождя, и от снегу, и пришед да сняв платейце [надо. – Е.А.] высушить да вымыть и вытереть". В этом же источнике употребляется еще одна уменьшительно-ласкательная форма – *платенко*: "А и сам, что замыслит своими трудами, ино лучшее платенко верхнее и нижнее, и рубашку, и сапог блюсти по праздникам".

Как показывают памятники письменности, слово *платье* использовалось в самом широком значении, для любой одежды. По свидетельству лингвиста Е.Н. Борисовой, в рязанских памятниках этого периода вместе с шубами и зипунами к понятию "платье" относились и ткани,

например, холсты (Борисова Е.Н. Из истории некоторых слов бытовой лексики рязанских памятников XVI–XVII вв. М., 1956). В воронежских древних текстах в общее понятие “платье” включались и рукавицы: “Платье на тех беглецах было: кафтаны серые, рукавицы” (1689 г.).

Слово *платье* представляет собой собирательное существительное от общеславянского *плат* “кусочек ткани, холста” и древнерусского образовательного суффикса *-ь/-*. Оно встречается в болгарском и польском языках и обычно сближается со словом *полотно* (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. III).

В современном русском литературном языке наименование *платье* прежде всего обозначает “цельную женскую одежду, верхняя часть которой соответствует кофте, а нижняя – юбке”, а затем уже имеет значение “одежда, носимая поверх белья; верхнее платье; верхняя одежда, пальто”.

Реже в древнерусский период в значении “собирательное понятие одежды” употреблялось слово *платно*. Вот как сказано об этом в “Домострое”: “А и ветшаное и вседневное всякое платно, и верхнее и нижнее, и белое, и сапоги – все измыто всегда бы было”. Казалось бы, из примера следует, что название *платно* предназначено для обозначения старой или ношеной одежды, однако в этом же памятнике находим следующее: “А коли случится какое платно кроити... летник или кортель, или шубу с поволокою, или кафтан”. Из этого примера явно следует, что словом *платно* могли называть любую одежду: и старую, и новую, и нарядную, и повседневную. Кроме того, в этот же период платно представляло собой и определенный вид одежды, которая была, по свидетельству известного историка И.И. Забелина, длиннополой и напояла опашень с воротником. Она изготавливалась из дорогих тканей: алтабаса, аксамита, атласа. Платно принадлежало царскому и княжескому обиходу (Забелин И.И. Быт царей). В подтверждение этому мнению находим такой пример из письменных источников XVII века: “Великий государь Михаил Федорович жалует тебя своим государевым жалованьем: платно, атлас золотный цветной, пуговицы серебряные”. В Словаре русского языка XI–XVII вв. находим еще одно значение слова *платно* – “полотно” (Вып. 15).

Любопытно, что *платно* фигурирует даже в Словаре современного русского литературного языка, правда лишь в одном из своих значений: “старинная верхняя одежда из дорогих тканей, служившая в XV–XVII вв. облачением монархов русского государства при торжественных приемах, придворных церемониях и т.д.” (СРЛЯ. Т. 14).

Весьма распространенным общим родовым названием одежды было слово *порты*. Ведет оно свою историю еще с древних договоров Олега с Византией. Продолжая свое существование в XVI–XVII веках, название *порты* имело значения “одежда, платье” и “мужские штаны” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 17). Вот как отразилось в памятниках письмен-

ности данного периода это название: “А из порт моих Ивану, сыну моему, кожух, желтая объярь с жемчугом, коц великий с бармами”; “Царевна порты надевши и поеха ко Пскову”; “И повеле сетовныя порты с него сняти и отыми его в бане от скверны и облещи в ризы своя царския”; “Сорочек и порт мужских и женских шесты повешены полны, а верхнева платья цветного коробьи и сундуки наклажены до кровель”.

Относительно происхождения данного наименования можно сказать, что оно представляет собой праславянский словообразовательный вариант от основы *ръгъ* (Фасмер. Указ. соч.).

Продолжает ряд наименований, обозначающих родовое понятие “одежды”, слово *одеяние*: “Руки свои простирает на полезныя [дела. – Е.А.] локти же своя утверждает на веретено: многоразлична одеяния преукрашена сотвори мужу своему и себе, и чадам, и домочадцам своим”; “На погосте церковь Рождества Христова... распятия литые. На жертвеннике одеяние выбойчатое”.

Одеяние было распространено преимущественно в текстах религиозного или исторического содержания. В СлРЯ XI–XVII вв. представлено несколько его значений: “1). Одежда, наряд. 2. Покров, покрывало. 3. Одевание” (Вып. 12).

В Словаре современного русского литературного языка название *одеяние* фигурирует со значением “одежда, преимущественно праздничная, торжественная” (ССРЛЯ. Т. 8).

Совсем редко на рубеже XVI–XVII веков в значении общего названия одежды встречается *убор*: “Фрол Скобеев убрался в девичий убор и поехал с сестрой своей”. Такое редкое употребление слова *убор* в письменности этого периода объясняется тем, что оно получило распространение в более позднее время. Примечательно то, что данное название обозначает не только одежду, но и головной убор, то есть костюм в целом.

В словаре В.И. Даля наименование *убор* помещено в значении “все, что идет на украшение, наряд, праздничное платье, убранство” (Т. IV).

Данное название, безусловно, синонимично слову *наряд*. В наши дни *убор* в значении “наряд” практически не употребляется в русском литературном языке. Ему предпочтительнее слово *наряд*. Однако в Словаре современного русского литературного языка, составленном в 50-е годы, *убор* присутствует в двух значениях: “1. *Устар.* и *обл.* Действие по значению глаг. убрать, убраться. 2. Одежда, наряд; соответствующее случаю специальное снаряжение” (Т. 16).

Таким образом, в старорусском языке, в период XVI–XVII веков существовал ряд так называемых собирательных существительных, обозначающих общее, родовое понятие “одежды”: *одежда, платье, платно, порты, одеяние, убор*. Они различались оттенками значений и стиливой принадлежностью.

Из английского мундира в свой

Т.В. КУЛЫСОВА

В 1682 году под названием “Краткая история Московии” опубликован очерк Джона Мильтона. Он был написан со слов и письменных рассказов очевидцев на английском языке для английского читателя. При создании текста целью писателя являлось не точное воспроизведение этих рассказов, а описание действительности с учетом интересов и подготовленности читателя. Писатель никогда не был в России и не знал русского языка, поэтому не мог передать точных деталей, а как бы приравнял их к английской среде, что впоследствии создало трудности при переводе этого очерка на русский язык.

Было сделано несколько переводов; интересным для нас является вариант Ю.Т. Толстого (1824–1878) – переводчика и историка по образованию. Он не только перевел очерк, но и интерпретировал его так, чтобы он был доступен уже русскому читателю. Кстати, этот перевод был сделан им в 1874 году. Ю.В. Толстой восстановил русские реалии, которые были заменены Джоном Мильтоном на английские.

Джон Милтон, например, характеризую русскую армию, пользовался средствами родного для него языка. Так, он употреблял английское *general* при описании высших чинов в русской армии. Он писал, что во времена правления Лжедмитрия многие перешли на его сторону вместе с *воеводой (general)* Голицыным. В соответствии с русской традицией, Ю.В. Толстой заменил *general* русским *воевода*. Кстати, словом *воевода* он передал и английское *governor*: “С тех пор, как самоеды покорились русским, там находятся двое воевод (*governors*)”. В английском языке эти слова многозначны, и сфера их употребления широка. Поэтому в ряде случаев они могут дублировать друг друга.

Перевести буквально *general* и *governor* не представлялось возможным, так как в русском тексте появилось бы что-то искусственное. Правда, слово *governor* упоминалось в русском языке уже в XVII веке в записках Герасима Дохтурова, посетившего Англию в 1645 году. Он был переводчиком с английского деловых бумаг и ввел в русский текст слово *говорнар*. Если бы Ю.В. Толстой использовал его, то приведенный нами пример выглядел бы так: “С тех пор, как самоеды покорились русским, там находятся двое говорнаров”.

Гражданские и военные функции в управлении государством часто переплетались, и терминология военной сферы использовала подчас те же средства выражения, что и в области гражданского управления. По-

этому русское *воевода* могло означать как гражданский чин *governor*, так и военный – *general*.

Ввиду широты значения слова *воевода* Ю.В. Толстой прибег к наиболее нейтральным терминам при переводе *general* и *governor* – *правитель, начальник*.

Ю.В. Толстой писал, что англичане прибыли в Россию, где в то время царем был Иван Васильевич, который тайно был извещен одним из правителей (*governor*) о прибытии иностранных гостей.

Или, например, когда речь шла о том, что Михаил Федорович Романов был провозглашен царем благодаря мужеству Пожарского и Минина, то в знак благодарности царь сделал их обоих начальниками своих войск (у Мильтона – *generals*).

В значении “военачальник” Джон Мильтон использовал малоупотребительное *the Palatine*, когда описывал период польской интервенции и подчеркивал, что поляки снабдили самозванца оружием и деньгами, и отправили воеводу (*the Palatine*) Сандомирского проводить его в Россию.

Термин *palatine* Джон Мильтон употребил применительно к польскому военачальнику. А в русской традиции он назывался *воеводой* Сандомирским. Современные словари толкуют *palatine* как пфальцграф. Словарь иностранных слов трактует это слово как королевский судья во Франском государстве, позднее – владетельный князь. Но это слово могло в силу своей необычности отвлечь внимание читателей и повредить образу, поэтому Ю.В. Толстой перевел его как *воевода*, более понятное русскому читателю.

Интересно для нас и слово *officer*. Термин *officer* могло означать русское чиновник, служилый человек, но иногда и воевода. Так, передавая слово Козьмы Минина о народном ополчении, Джон Мильтон писал, что поляки были бы разбиты, если бы не низость и подкупность воевод (*officers*).

Нашел Ю.В. Толстой и лексическое соответствие для английского слова *captain*. В русском языке *капитан* зафиксировано в письменных памятниках в начале XV века. В русском государстве *капитан* как наименование чина командира роты появилось во времена царствования Бориса Годунова, когда в состав войска были включены наемные иноземные дружины. Первоначально *капитанами* назывались офицеры, командиры только в полках иноземного строя. Но уже в последней четверти XVII века *капитанами* стали называть и военачальников из среды русских. В толковых словарях *капитан* употребляется в следующих значениях: офицерское звание или чин в армии и на флоте, начальник, командир судна. Это позволило Ю.В. Толстому перевести английское *captain* русским *капитан*.

Не зная всех тонкостей о различных видах войск в русской армии, Джон Мильтон употребил слово *gunner* для воинов, стреляющих из раз-

личных видов оружия. Английское *gunner* – это стрелок вообще – без каких-либо указаний на конкретный вид оружия. В русском языке это не так. Переводчику для каждого конкретного случая приходилось искать лексическую замену для английского *gunner*. Например, Ю.В. Толстой, переводя эпизод о покорении самоедов, говорит, что с этого момента там находилось двое воевод (*governors*) с тремя или четырьмя сотнями стрельцов (*gunners*). Или в рассказе о царском войске Ю.В. Толстой переводил, что “пионеров и пищальников (*gunners*) у него [царя] тридцать тысяч человек, остальные ездят на конях и вооружены луками (*gunners*)”. На Руси пищальники и стрельцы представляли собой два различных вида “служилых людей”, которые на определенном отрезке времени сосуществовали. Джон Мильтон не различал их. Ю.В. Толстой не только искал лексическую замену для английского *gunner*, но и прибегал к описательному способу перевода – вооружены луками, т.е. стрельцы.

В этом же описании переводчик употребил слово *пионеры*. В XIX веке оно имело чисто военное значение и не вызывало никаких возражений. *Пионер* – это военный в некоторых странах Европы и в России XVIII–XIX веков – то же, что сапер. Для современного читателя этот перевод устарел, он уже не относит *пионер* к военному термину. И это справедливо, так как в XX веке сфера его употребления изменилась. А *пионер* в значении “сапер” – это архаизм.

Зная все детали русской действительности, Ю.В. Толстой привнес в перевод то, что в нем отсутствовало, а именно – национальное своеобразие России XVI века. Текст перевода создавался Ю.В. Толстым не только для информации о том, что было в прошлом и как представляли Россию английским читателям в XVII веке, но чтобы приблизить это прошлое к современным русским читателям. Ю.В. Толстому нужно было решить и другую проблему – не исказить социальную действительность отдаленной от читателя эпохи, отраженную в произведении. Нужно было тонко чувствовать эпоху при выборе лексического материала.

В очерке Джона Мильтона русские воины выступают как бы в “английском мундире”. А благодаря переводу Ю.В. Толстого, сделанному с учетом всех деталей в организации русской армии, перед читателем возникают образы не англизированной русской армии, а русские лучники и пищальники во главе с воеводой.

Беседы о лингвистическом источниковедении



ИЗ ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ РУССКИХ РУКОПИСНЫХ ПАМЯТНИКОВ*

*Л.Ю. АСТАХИНА,
кандидат филологических наук*

В Санкт-Петербурге 5 ноября 1725 года в звании студента появился *Герард-Фридрих Миллер*. Много позже он станет Федором Ивановичем, первым русским историографом и будет избран действительным членом Петербургской Академии.

Герард-Фридрих Миллер родился в Германии в 1705 году, в семье ректора гимназии, где и началось его образование, а продолжилось в Рингельне и Лейпциге.

С 1726 по 1728 годы, будучи в Петербурге, Г.Ф. Миллер посещал заседания академической Конференции (ученый совет при Академии наук); преподавал латинский язык, историю и географию в академической гимназии.

В 1725 году Г.Ф. Миллер стал адъюнктом. В его обязанности входило составление Санкт-Петербургских ведомостей (по иностранным изданиям) и "Примечаний" к ним. В "Ведомостях" популярно рассказывалось о различных государственных новостях, научных проблемах и достижениях. "Примечания" издавались на русском и немецком языках. Он наблюдал за печатанием этих изданий, сам держал корректуру; одно время в его обязанности входила выдача книг из академической библиотеки.

В 1729 году Г.Ф. Миллер заменял в управлении Академической канцелярией И.Д. Шумахера в его отсутствие, вел протоколы заседаний Конференции и иностранную переписку.

Г.Ф. Миллер интересовался российской историей и географией и ви-

*Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1999. №№ 2, 3.

дел здесь необъятное поприще для научной деятельности. В 1732 году он составил и прочитал в Конференции “Предложение об улучшении русской истории посредством печатания выпусками сборника различных известий, относящихся до обстоятельств и событий в Российском государстве”. “Положение” было опубликовано на русском и немецком языках. Г.Ф. Миллер стремился русскую историю “не только сам прилежно изучать, но и сделать известною другим в сочинениях по лучшим источникам” (Пекарский П. История Академии наук. СПб., 1870. Т. 1). Это предполагало издание рукописных памятников, и в первую очередь – летописей. А.Л. Шлецер писал о нем, что “работа была для него не только удовольствием, но и истинною потребностью” (Общественная и частная жизнь А.Л. Шлецера, им самим написанная // Сб. ОРЯС. СПб., 1875. Т. XIII).

В 1731 году Г.Ф. Миллер стал профессором, но, по его собственному признанию, еще “не был в состоянии сам читать русские сочинения, а должен был прибегать к переводчику” (Шлецер. Указ. соч.). Переводчик И.В. Паузе, к которому он обратился, с 1705 года заведовал гимназией в Москве и, помимо работы по переводам, трудился над составлением Славяно-русской грамматики. По-видимому, привлечение такого специалиста должно было уберечь публикацию Г.Ф. Миллера от ошибок и неточностей.

В 1732 году в Санкт-Петербурге вышел из печати составленный Г.Ф. Миллером сборник на немецком языке *Sammlung Russischer Geschichte* (“Собрание российской истории”, далее – SRG), в 1733 – еще два. Материалы четвертого, пятого и шестого выпусков он передал адъютанту А.Б. Крамеру, так как сам собирался в длительное путешествие по Сибири (1734–1743 гг.).

Эти шесть выпусков составили первый том SRG. “Главное содержание этого сборника, – писал впоследствии в автобиографии Г.Ф. Миллер, – по моему предположению, должно было заключаться в извлечениях и переводах из русских летописей и других исторических рукописей” (Пекарский. Указ. соч.). Наряду с другими сочинениями и исследованиями по русской истории (например, об Олеге и Игоре, об Александре Невском, о царе Алексее Михайловиче и др.), в первой части SRG (это ок. 500 стр.) помещено пять отрывков из Радзивилловской летописи.

Фрагмент из Радзивилловской летописи (самое начало), который был переведен на немецкий, относится к 860–1175 годам. Имени Нестора упомянуто не было: “Сия книга летописецъ Повесть временных лет черноризца Феодосьева монастыря Печерьскаго, откуда ес(ть) пошла Русская земля и кто в ней почал первое кн(я)жити” (Полное собрание русских летописей. Радзивилловская летопись. Л., 1989. Т. 38).

В переводе летописи на немецкий язык И.В. Паузе все же допустил ошибку, приписал авторство Феодосию, настоятелю того монастыря,

где автор летописи Нестор был иноком. Г.Ф. Миллер исправил эту ошибку в том же SRG в одной из статей 1754 года. Написал он о ней и в февральском номере 1755 года “Ежемесячных сочинениях”, упомянув летопись “первого российского историка преподобного Нестора, а у нас переводчицким погрешением под именем Киево-Печерского монастыря основателя святого Феодосия на немецком языке напечатанную” (Рассуждение о двух браках, введенных чужестранными писателями в род великих князей всероссийских // Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие. 1755. Февр.). Однако ошибка продолжала бытовать на Западе еще долго (более 30 лет). Сам же Г.Ф. Миллер был очень огорчен и, по словам А.Л. Шлецера, “лишил... значения эту свою публикацию” (Шлецер. Указ. соч.). А ведь это был первый опыт ученых представить в печати русский рукописный памятник.

В конце 1733 года президент Императорской Академии наук Г.К. Кейзерлинг уезжал на дипломатическую службу в Польшу. На время своего отсутствия поручил управление Академией четырем академикам, которые должны были быть директорами попеременно, и двум секретарям. Академики *Х. Гольдбах* (математик, конференц-секретарь, академический советник); *И.С. Бекеништейн* (академик правоведения; как его называл Г.Ф. Миллер, “враг сплетен и поборник справедливости”); *И.Д. Шумахер* (библиотекарь и советник академической канцелярии) много сделавший для организации Академии, фактически, был управляющим делами Академии и ее средствами; *Г.З. Байер* (по словам Г.Ф. Миллера, это был человек, созданный для классических древностей). Он знал философию, древние языки: маньчжурский, тунгусский, китайский, арабский, сирийский, эфиопский; знал историю различных религий, а до приезда в Санкт-Петербург читал в Кенигсбергской гимназии курсы греческой и римской литературы. В России проводил разыскания по русской истории, которую, по словам Г.Ф. Миллера, объяснял “из греческих и северных писателей”. Русские источники он не использовал, так как русского языка не знал и изучать не имел намерения. В своих трудах он, по его собственному признанию, “решился сообщить публике то, что было уже собрано [им] со многими стараниями и огромными издержками, чтобы другим предоставить в будущем дальнейшие исследования и усовершенствования ... желал облегчить те многие труды, которые потратил сам” (Пекарский. Указ. соч.). Впоследствии на русский язык были переведены его сочинения о скифах, варягах, о городе Азове, сочиненная им География России. Это краткое правление четырех академиков продолжалось с декабря 1733 года до 11 ноября 1734, когда президентом Академии наук был назначен И.А. Корф.

Возможно, предложение Г.Ф. Миллера об издании рукописей именно в это время нашло отклик у академиков-директоров: они не могли не понимать важности публикации в России источников по ее истории. Именно Г.Ф. Миллеру поручено было помогать Г.З. Байеру в состав-

лении статей для SRG и в их предварительной обработке: последний был уверен, что Миллеру удастся изучить русский язык, т.к. он “был молод и деятелен” (Пекарский. Указ. соч.).

25 апреля 1734 года в Правительствующий Сенат было направлено представление, в котором Академия сообщала, что имеет намерение издавать рукописи древних русских летописцев. Авторы представления указывали не только на научное значение этого предприятия, но и на выгоды для Академической типографии: “А понеже можно надеяться, что через сей способ российская история будет приведена со временем в лучшую ясность, к тому же и типографии истая будет польза и народу чтением оных приятное упражнение”. Поэтому, говорилось далее, “Академия наук покорно просит, дабы соблаговолено было вышереченных российских древних хронографов ныне и впредь при Академии наук в российской типографии печатать, также и продавать по настоящей цене” (Пекарский. Указ. соч.).

Академия, разумеется, справилась бы с этой задачей, тем более, что имелся опыт публикации отрывков из русских летописей Г.Ф. Миллера в SRG. Возможно, этот первый не совсем удачный опыт побудил Академию выступить с предложением издать русские источники – в частности, летописи – по оригиналам. Ведь несмотря на ошибки в издании Г.Ф. Миллера, европейские ученые высоко оценили сведения, содержащиеся в нем. Они были уверены, что русские летописи написаны на латыни. “Сколько иностранцев громко вздыхали по изданию этих летописей и основательно ожидали от них чрезвычайного расширения всей истории севера”, – писал А.Л. Шлецер (Шлецер. Указ. соч.). Сам он, один из немногих немецких ученых, овладевших русским языком, изумлялся его “богатству, великолепию ... его силе в звуках и выражениях” (там же).

Инициатива Академии наук встретила резкую отповедь со стороны Синода: “Рассуждаемо было, что в Академии затевают истории печатать, в чем бумагу и прочий кошт терять будут напрасно, понеже во оных писаны лжи явственные... отчего в народе может произойти не без соблазна” (Пекарский. Указ. соч.).

Так окончилась первая попытка ученых гуманитарного класса Петербургской Академии наук представить рукописные источники в печати.

Из истории политического лексикона XX века



Красный в русской эмигрантской публицистике

А.В. ЗЕЛЕНИН,
кандидат филологических наук

Это слово является, несомненно, одним из основных в политическом лексиконе XX века. Оно было ключевым не только для русского языка советского времени, но вокруг него формировались и многие идеи языка эмигрантов – особенно первой и второй волны. Появление переносного “политического” значения у слова *красный* связано с французской революцией 1789 года, когда этот цвет стал ассоциироваться с революционерами и республиканцами. Таким образом, семантически формирование данного значения связано в первую очередь с метафорой. История его “революционного” обозначения в советском языке описана подробно, поэтому нам нет нужды останавливаться на ней. Нас будет интересовать судьба слова в эмигрантском языке, предоставляющем много новых интересных фактов и свидетельств таких употреблений, которые были невозможны в советском языке.

Активность слова *красный* в речи эмигрантов связана не в последнюю очередь с чрезвычайной популярностью его в советский период истории: “Самые ходовые прилагательные в официальном языке это, конечно, *красный, трудовой, социалистический, социальный, советский, революционный, рабоче-крестьянский, пролетарский* и т.д.” (Карцевский С.И. Язык, война и революция. Берлин, 1923); “Излюбленными эпитетами по отношению к явлениям и предметам революционного времени служат прилагательные: *решиительный, безоговорочный, трудовой, жёсткий, красный, народный*” (Селищев А.М. Язык революционной эпохи. М., 1928).

На употребление данного слова очень сильное влияние оказали прагматические факторы: то, что одними (большевиками) оценивалось как позитивное, связанное с революцией, другими (большинством

эмигрантов) – совершенно иначе.

В эмигрантском языке практически невозможно найти нейтральных обозначений со словом *красный*. Даже если они встречаются, его значение “революционный” уже решает всё дело: оно окрашивает словосочетание в негативные тона; этому помогает и контекст: “200 000 советских солдат потерпели тяжелое поражение в районе Суомисальми (...) Снежная буря повлекла за собой много жертв среди красных частей и парализовала их машины” (Последн. новости. 1940. 1 янв.); “Красная Армия не только взрывает мосты и железнодорожные пути, она уничтожает водопроводы, портит машины, телеграфы и телефоны. Завоевателям приходится все отстраивать заново и организовывать жизнь в освобожденных областях так, как будто дело шло не о культурной, цивилизованной стране, а о первобытной пустыне, населенной дикими народностями” (Голос Родины. 1919. 8 мая).

Всё, что касается советской жизни, – *красный солдат, красный офицер, красный комиссар, красная власть* и т.д. – оценивается отрицательно: “В области Войска Донского неспокойно. Повстанческих отрядов немного, но по отдельным местам неизвестные мстители так ухлопывают коммунистов, что местные красные власти чувствуют себя очень тревожно и заметно поджали хвосты” (Рус. правда. 1925. Июль–авг.); “Самого Лапорта [французского коммуниста] в день его отъезда из Москвы арестовал советский патруль. Лапорт предъявил свой делегатский билет от коминтерна, но красный офицер (...) заявил, что ему отдан приказ арестовать именно того члена коминтерна, билет которого снабжен № 84” (Руль. 1930. 2 янв.); “По всей России идет непрекращающийся крестьянский и народный террор против представителей красной власти” (Рус. правда. 1925. Сент.–окт.).

Повсеместное распространение определения *красный* в советском языке также не ускользает от внимания эмигрантских публицистов: «Теперь открыт новый фронт, учительский. Повытаскивали учителей из их темных деревенских хат и привезли в столицу (...) Приехали они, учителя, в столицу. Еще недавно – такие гонимые, с кличкой “белогвардейцев”. Теперь их нужно во что бы то ни стало перекрасить (...) Как? Идея: объявить учителей красными – яркими приверженцами советской власти» (Дни. 1925. 30 янв.).

Разумеется, за всем этим “стоят” *Красный Кремль, Красная Москва* (метонимические замещения обозначений “Советская Россия” и – позднее – “СССР”), у которых на подмоге *Красный Интернационал* и *Красный Профинтерн* (*красный* – идеологическое определение-уточнитель): “Коммунистическая власть прямо ставит в настоящее время вопрос о лишении права на существование всех, кто не желает больше быть покорным рабом Красного Интернационала” (Голос России. 1933. Янв.-февр.-март.); “По-видимому, фиговый листок, прикрывающий их [СССР] действительный базис мировых устремлений, оказыва-

ется довольно удобоприемлемым для Японии, по крайней мере, пока, в ходе событий между СССР-ией [sic] и Японией, открыто для всех не проявлялось попыток сорвать этот наглый листок и представить всему миру Красную Москву во всей гнойной наготе ее беспредельной лжи, хамства и гнусности..." (Голос России. 1933. Янв.-февр.-март); «Красный Профинтерн оказал честь своим творцам: он не только был создан по образу и подобию Коминтерна, но является простым отражением всех его чаяний и планов. Чайания же эти – не что иное, как господство над рабочими и подчинение последних политическому учреждению – государству: то, что теперь именуется "ленинизмом"» (Анархич. вестник. 1924. № 7).

Однако политика Кремля и Москвы не делалась сама по себе, ее делали большевики-коммунисты ("красные") – *красные выдвигенцы, красные самодержцы, красные сановники, красные чиновники, красные правители, красные властители, красные комиссары*: «теперь многие обыватели убеждены, что многие расстрелы происходят просто в силу того, что те или иные спецы считаются ненужными, так как их заменили красные выдвигенцы, и участь таких "излишних" решается постановлением ОГПУ по трафаретному рецепту – "занимается вредительством". А такое занятие ведет обязательно к стенке...» (Сегодня. 1930. 3 янв.); «"Чехарда" на вершинах сов[етского] правительственного аппарата достигла апогея. Каждый день приносит вести то об аресте, то об отставке, то о "самоубийстве" кого-либо из красных сановников» (Меч. 1937. 6 июня); «Наши красные властители в своем безумии дошли до того, что объявили войну Господу-Богу. И Бог за это не дает России счастья {...} гнев Божий лежит над нами, пока мы даем править над собою антихристовым слугам из Третьего Интернационала» (Рус. правда. 1925. Июль-авг.); «Интересно было бы знать, нашелся ли бы в буржуазных странах, даже среди коммунистически настроенных элементов такой рабочий, который согласился бы пожить и поработать в тех условиях, в которых работают и живут рабы красных самодержцев» (Сегодня. 1930. 12 янв.).

Впрочем, верховные коммунисты ничем не отличаются от старых эксплуататоров, только поменяли название; их обозначали выражениями *красные бары, красные господа*: «Перед мысленным взором {...} встают {...} тысячи и тысячи детей, юношей и девушек, погибших от рук палачей, от злодейства и распутства красных бар и холопов..." (Младоросская искра. 1932. 20 авг.); «Самое издевательство еще в том, что наши красные господа заставляют угрозами народ топтать ноги на разных манифестациях и, с ножом ГПУ у горла, выносить всякие "восторженные" резолюции. Эти резолюции потом печатает Комиссарская [sic] власть в своих красных газетах, а дальше проводит в иностранных, тем втирая очки дуракам на всем свете» (Голос России. 1932. Июль).

Существовали и еще более яростные обозначения коммунистов –

красный враг, красный противник и собирательные публицистические метафоры – *красный зверь, красное коршунье, красные слуги Сатаны*: “Красный зверь скрежещет зубами, но победить нас не может, ибо дух победить нельзя ни пушками, ни провокаторами. Вот этим мы здесь, в эмиграции, а наши братья там, за Рубежом, страшны. В этом и залог нашей общей белой победы” (Рус. голос. 1939. 5 марта); “Мы же открыто и нелицемерно заботимся только о Русском народном благе и заветная наша дума только об одной России. Вот в чем наша сила, дающая нам, нищим защитникам России, возможность бороться против богатой инородческой шайки Третьего Интернационала, против красного коршуна, сидящего в Кремле” (Рус. правда. 1925. Июль–авг.); “Братья Русские! Встречая великий праздник Рождества Христова и Новый год под проклятым инородческим комиссарским игом, дайте в душе своей обет отдать все силы на то, чтобы гонимый красными слугами сатаны Христос, родившийся незримо в ваших сердцах, открыто воссиял на Святорусской Земле” (Рус. правда. 1925. Ноябрь–дек.). Повышенная публицистичность и эмоциональность была свойственна именно тем эмигрантским изданиям, которые ориентировались на “простой” народ – главным образом, крестьян и малообразованных рабочих. Отсюда предельная упрощенность политической картины и резкая разделенность на “своих” и “чужих”.

Образы красной Москвы и Кремля, а также советского правящего аппарата рождают метафору – *Красный Олимп*: “Тревоги Красного Олимпа” (название статьи – Меч. 1937. 11 апр.). Обобщенное представление о коммунистах и советском правительстве передается выражением *красный деспот*: [Россия] не только лишена плодов общей с союзниками победы [в Первой мировой войне], но при их недобросовестном участии отдана в рабство Красному деспоту – хозяину СССР” (Голос России. 1931. 2 авг.); “Всем ясно, что Красный деспот – могильщик Родины...” (Голос России. 1931. 1 сент.).

Советская идеология насаждалась повсюду, даже в церкви – и в эмигрантской печати появились новые сочетания *красный Синод, красный поп*: «Красный “живоцерковный” самозванный Синод, возглавляемый пьяницей, богохульником и отступником лжемитрополитом Евдокимом, готовит на октябрь созыв Всероссийского Церковного Собора, на котором задумано отдать в окончательную кабалу Комиссарам православную Церковь Христову» (Рус. правда. 1925. Июль–авг.); «Вторая цель [убийства патриарха Тихона] была в том, чтобы, убрав Старца Божия с дороги, тем обезглавить нашу Церковь и открыть верный и легкий путь к ее захвату союзниками коммунистов, красным попом, так называемым “живоцерковником” или “обновленцам”» (Рус. правда. 1925. Июль–авг.).

Красное “недремлющее око” ОГПУ, а для эмигрантов особенно важно было отделение, специально созданное для борьбы с людьми,

покинувшими Россию в годы гражданской войны – ИНОГПУ, которое получило в эмигрантской публицистике свои эпитеты: *красная жандармерия, красные газеты, красные аэропланы, красные карательные отряды, красные шпионы, красные агитаторы* и др. «Красное “недремлющее око” ИНОГПУ тотчас же замечает вновь возникший наш “внутренний фронт”...» (Сигнал. 1938. 1 сент.); “Повстанцами устроено крушение поезда с красным карательным отрядом (...) пущен под откос поезд с красным карательным эшеломом, сожжена станция Вереицы и обстрелян вызванный на помощь красный бронепоезд” (Рус. правда. 1925. Июль–авг.); «...по Питеру и Москве прокатилась волна забастовок ... Начались массовые аресты и обыски, заработала красная жандармерия во всю, вылавливая все “крамольное” и “неблагонадежное”» (Анархич. вестник. 1924. № 7); “Мы хорошо знаем, как трудно Русским людям ... видеть все через лживые очки красных советских газет...” (Рус. правда. 1925. Сент.–окт.); «...пришлось нам в последнее время на несколько месяцев задержать выпуск “Русской Правды”. Разные тут были причины. Были и денежные затруднения: мы, Русские ведь, – нищие, и этого не скрывали. Были и затруднения от слежки красных шпионов...» (Рус. правда. 1925. Июль–авг.); “Кремлевские Комиссары... ведут отчаянную пропаганду в Азии, пытаются в первую голову поднять против Европы Китай. Туда сейчас идут широким потоком Русские деньги, туда посылаются русские боевые запасы, туда летят красные аэропланы с красными агитаторами” (Рус. правда. 1925. Июль–авг.).

Идеология Советской России именуется эмигрантами как *красные затеи, красный дурман, красная химера, красная чума, красная зараза, красная завеса, красное разложение*, сам строй, основанный на ней, как *красный “рай”, красное иго*: “Русские Белые Армии – это ничтожная в процентном отношении часть охваченного красным дурманом населения России...” (Сигнал. 1938. 15 сент.); “...налицо имеются два главных, борющихся не на жизнь, а на смерть лагеря – национализм и интернационализм (...) Какую же участь в этой грозной борьбе взял на себя русский народ, принесший уже в жертву красной химере свои неисчислимые богатства и миллионы человеческих жизней. Там, на нашей Родине, он подставил свою шею под красное ярмо...” (Рус. голос. 1934. 29 июля); “...в Чехии все громче и громче начинают говорить, что всем державам надо думать о том, чтобы объединиться для борьбы с красной чумой, ввозимой из России” (Рус. правда. 1925. Июль–авг.); “Маленькие Прибалтийские государства дружно борются с приходящей из-за советской границы красной заразой и без боя себя в руки Коминтерна не дадут” (Рус. правда. 1925. Сент.–окт.); “Мы боремся против обеих диктатур, против красного и черного разложения, боремся за те идеалы народовластия, к которым неизбежно придет русский народ...” (Воля России. 1920. 19 сент.).

Разумеется, символы революции также не могли не вызвать опреде-

ленных ассоциаций в эмигрантских изданиях. Так, *красная звезда* осмыслялась как кровавая и кровоточащая, “знак смерти и гробового покая, а не пробуждения и воскресения” (Рус. правда. 1925. Июль–авг.); символ хлебопашества и крестьянского труда – *плуг* – понимался как орудие разрушения и нанесения глубоких ран земле.

Борьба с советским режимом, *красным террором*, должна вестись либо при помощи *белого террора*, либо *народного и крестьянского террора*; оба понятия были обобщены в неологизме *противокрасный террор*: “Ненависть красного солдата к режиму, приведшему к голоду, ссылкам и кровавому террору, которым является ныне СССР – только усилилась после учреждения Колхозов [sic], так как русские деревни лишены теперь всего и приведены к рабству” (Голос России. 1932. Сент.–окт.); “По всей России идет непрекращающийся крестьянский и народный террор против представителей красной власти (...) Рука народных мстителей настигает своих врагов везде” (Рус. правда. 1925. Сент.–окт.); “На красный террор Чеки ответим нашим всенародным неуловимым неуследимым террором” (Рус. правда. 1925. Ноябрь–дек.); “Низовой противокрасный террор на Дону, на Кубани, на Сев[ерном] Кавказе, в Черноморье” (Голос России. 1931. 1 сент.).

Субстантивированное прилагательное *красный* употреблялось эмигрантами в трех значениях: 1) для обозначения большевиков и коммунистов в Советской России: “Для вас, Красных, Бог, Честь, Родина и Россия – только одни предрассудки. А для нас это то, чем мы живы и без чего не сто́ит и незачем жить (...) Вы продали Бога и Родину. Мы готовы умереть за Бога и Родину” (Рус. правда. 1925. Сент.–окт.); 2) сторонников большевиков и коммунистов в разных странах мира: «“Союз противников большевизма” (...) собирается вызвать на диспут местных коммунистических “теоретиков”, никогда, конечно, не бывавших в России. Если вызов этот будет принят “красными”, то антибольшевицкая [sic] ассоциация пригласит на диспут несколько приехавших в Канаду русских крестьян, которые расскажут условия жизни в России при большевиках» (Дни. 1925. 7 февр.); 3) республиканцев в Испании во время гражданской войны в 30-е годы: “Наступление повстанческо-итальянских колонн по трем параллельным долинам в общем направлении на Гвадалахару. Красные не оказывали серьезного сопротивления” (Меч. 1937. 28 марта).

Более смягченные характеристики сочувствующих большевикам выражались при помощи слова *розовый* и неологизма *полукрасный*: “Потерпевшая тяжелое поражение в Каталонии и оставленная на милость победителя своими друзьями – красной Москвой и розовой Францией – красная Испания агонизирует. Восстания и перевороты в красном стане – это последние конвульсии” (Рус. голос. 1939. 12 марта); “Комиссарская власть продолжает усиленно кидать деньги в надежде разжечь красное движение на Балканах. Особенно велика ненависть

Комиссаров к маленькой Болгарии, где правит в полном согласии с молодым царем Борисом Национальное правительство Цанкова, успешное за эти годы, после свержения полукрасного правительства друга большевиков Стамбулийского, благополучно подавить уже несколько устроенных из Москвы попыток красного переворота” (Рус. правда. 1925. Сент.–окт.).

Многочисленные словосочетания с элементом *красный*, выступающим в качестве опорного компонента (и семантически, и прагматически), важны для понимания организации смыслового поля эмигрантских изданий. Во-первых, его активность показывает сложную психологическую зависимость эмигрантского сознания (по принципу “притяжение – отталкивание”) от революционных идей, провозглашаемых большевиками. Понятие “красный” в сильной степени поляризует политический спектр в сознании эмигрантов. В понятии назывной (номинативный) элемент значения (“большевистский, коммунистический”) сильно оттесняется оценочными наслоениями; это создает возможность достаточно расширительного использования термина. Слово находится в динамическом семантико-прагматическом поле “натяжения” между двумя полюсами. Семантическое развитие совершается метонимическим путем (новые употребления “кружатся” около номинативного значения), однако его повышенная публицистичность часто “взрывает” слово изнутри и порождает (генерирует) у него метафорические ассоциации (“кровавый, насильственный, рабский”).

Санкт-Петербург

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Стародевичье. Русское село в Республике Мордовия. Более раннее название *Девичий Рукав*. Село расположено на одном из рукавов, протоке реки Мокши. Рукав, протока любой реки является более поздним, вторичным образованием по отношению к основному руслу реки и часто получает название *Девичий (Девичей), Девиченский, Девкинский* (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки) в знак своего дочернего образования. Аналогичный принцип номинации в гидронимах *Старица, Старка, Старуха, Старец* и т.п. как отражение более раннего происхождения объекта по отношению к основному руслу реки. *Девичье* – находящееся на рукаве, протоке. Предположение об отраженной в названии принадлежности селения к девичьему монастырю не подтверждается документально. Но при этом нельзя и исключать того факта, что поблизости находится село Новодевичье (в прошлом Девический выселок), которое, по мнению И.К. Инжеватова, является выселком из села Девичьего, принадлежавшего девичьему монастырю (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР).

Первая часть топонима – *Старо-*, возможно, связана с появлением Новодевичьего села или другого, более молодого, позднего рукава реки Мокши, или с особенностями месторасположения рукава и старицы этой реки.

стародевичий, -чья, -чье

Стародуб. Город в Брянской области. Впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1080 годом, а в 1096 – в Ипатьевской летописи. В основе названия сочетание *старые дубы*, которое довольно часто представлено в топонимии Центральной России как название полей, лугов, небольших речек. Ср. река *Стародубка*, овраг *Стародубской* в бассейне Оки. Возможно, название города такого же происхождения – по местности, речке Старые дубы.

стародубцы, стародубец, стародубка

стародубский, -ая, -ое

* Продолжение. Начало см.: Русская речь, 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1–6; 1999. №№ 1–4.

Старые Верхиссы (Исапря, Сире Веле). Мокшанское село в Республике Мордовия. Село известно с 1869 года в Списке населенных мест Пензенской губернии. В названии отражено местонахождение села: в верховьях реки Иссы. Мокшанская форма *Исапря*: где *-пря* “голова, верховье реки”, *Иса*- “ивовая” от *исса* “ива”. Подобное словообразование топонимов широко известно на территории распространения мордовских языков (Инжеватов. Указ. соч.). Аналогичные названия селений известны в Верхнем Поочье: село *Валовые Верхи*, *Алмазово тож* на реке Валуи (Валуи) и др. (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки). На реке Иссе есть эрзянский поселок *Новые Верхиссы*.

Старый Киструс. См. *Киструс*.

Старый Оскол. Город в Белгородской области. В 1571 году неподалеку от современного города, при слиянии рек Убля и Оскол был построен сторожевой дозор, а в 1593 году на его месте выстроена крепость Оскол для охраны южных рубежей Русского государства. Название дано по реке Оскол, на которой находилось укрепление. Когда в 1655 году город Царёв-Алексеев переименовали в *Новый Оскол*, то Оскол стал – *Старым Осколом*. См. *Оскол*, *Новый Оскол*.

старооско́льцы, старооско́лец

старооско́льский, *-ая, -ое*

Стрельна. Поселок в Ленинградской области на южном берегу Финского залива, административно входит в состав города Петергофа. Более раннее название *Стрелина мыза* (Кисловский). Знаете ли вы? Словарь географических названий Ленинградской области). Название дано по реке Стрелка, поблизости впадающей в Финский залив. Гидронимы как *Стрелка*, *Стрелица*, *Стрелец* и т.п. довольно широко известны в Центральной России, т.к. река, впадающая в другую реку, озеро, залив, часто образует мыс, напоминающий заостренную стрелу. В Нижнем Новгороде при впадении Оки в Волгу микрорайон называется *Стрелка*. Стрельна – предшественница Петергофа, здесь в начале XVIII века Петр I заложил садово-парковый ансамбль.

стрельни́нцы, стрельни́нец

стрельни́нский, *-ая, -ое*

Струги Красные. Поселок городского типа Псковской области. Первоначальное название *Струги Белые*, по соседнему озеру Струга Беляя. Название довольно прозрачное: *Струги* – от апеллятива *струга* “омут”, “старица”, что свидетельствует о природе озера (старица) или о его характере (яма, омут, колдобина). Название озера дало имя близлежащей деревне, а деревня – железнодорожной станции. В 1919 году первая часть топонима – *Белые* была заменена на идеологически выдержанное *Красные*. Рядом Стругское озеро.

стружа́не, стружа́нин, стружа́нка, стругокра́сенцы

стру́гинский, *-ая, -ое* и стру́гский, *ая, -ое*

Струнино (1938). Город во Владимирской области. Известен с конца

XV века как село, затем – рабочий поселок. Вполне вероятно антропонимическое происхождение его названия. В XV–XVI веках известно прозвище *Струна* одного из жителей Переславля – Струна Федор Сухорин (вторая половина XV в.), от него *Струнины* в XVI в. (Веселовский. Ономастикон).

струнинцы, струнинец

струнинский, -ая, -ое

Ступино (1938). Город в Московской области. Известен с 1507 года как починок *Ступинский*, с 1511 – деревня *Ступинская*, и с 1532 – *Ступино*. В 1933 году эта деревня была включена в состав поселка Электровоз, появившегося в связи со строительством поблизости электровозостроительного завода. С 1938 года поселок преобразован в город Ступино. Название антропонимического происхождения. Прозвище *Ступа* и от него *Ступин* фиксируется с середины XVI века: Василий Андреев Ступа, дьяк царя Ивана, 1559 г.; Иван Тимофеевич Ступин, пскович, переведенный в Казань, 1565 г. (Веселовский. Указ. соч.).

стүпинцы, стүпинец

стүпинский, -ая, -ое

Суворов (1954). Город в Тульской области. Название получил по просьбе жителей, в честь выдающегося русского полководца А.В. Суворова. В основе фамилии апеллятив *сувор(ый)* из *суровый*, что значит “строгий, непреклонный, лишенный снисходительности”. Прозвище *Сувор* и фамилия *Суворов* были известны у русских с XV века (Веселовский. Указ. соч.).

суворовцы, суворовец, суворовка

суворовский, -ая, -ое

Суджа (1664). Районный центр в Курской области. Название дано по одноименной реке Суджа, на которой город основан как *Суджанская слобода*. Относительно происхождения гидронима *Суджа* существуют разные версии. По одной из них, название *Суджа* относилось ко всей этой местности и происходит от тюркских *су* “вода” и *джа* “место”, т.е. “влажное, сырое, болотистое место”. Э.М. Мурзаев считал, что это не тюркское, а скорее монгольское, так как аналогичное название *Суджа* есть в Монголии (Мурзаев. Словарь народных географических терминов).

суджанцы, суджанец, и суджане, суджанин

суджинский, судженский, суджанский, -ая, -ое

Судиславль (1963). Рабочий поселок в Костромской области. Упоминается как город в 1672 году. Происхождение названия не известно. По легенде, город был основан одним из сыновей князя Владимира (Красное Солнышко) Судиславом в X веке. По другой – Судиславом, выходцем из Галиции или Волыни в 996 году. Форма топонима с суффиксом притяжательности *-ь-* показывает, что *Судиславль* – это город Судислава. Ср. *Ярославль* – город Ярослава.

судислѣвцы, судислѣвец, судислѣвка
судислѣвский, -ая, -ое и судислѣвльський, -ая, -ое

Судиславцы – грибовники. Речь идет о том, что важным отхожим промыслом местных жителей был сбор и продажа грибов, т.к. село Судиславль расположено в лесах Костромской области.

Судогда (1778). Город во Владимирской области. Название дано по реке Судогда, на которой был основан. Происхождение названия неясно. Элемент -гда дает основание считать его очень древним, дославянским, пока не поддающимся расшифровке. В данном ареале (средне-нижнее Поочье) оно не одиноко, здесь имеется пласт аналогичных топонимов: *Шижегда, Тогда, Кургеда, Ушканеда* и др. (Смолицкая. Обратный словарь гидронимии бассейна Оки). Топонимы на -гда на севернорусской территории выводятся из мансийского, например, *Вологда* (Никонов, Краткий топонимический словарь).

судогѡдцы, судогѡдец; судогѡдка и судогѡдчѡне, судогѡдчѡнин
судогѡдский, -ая, -ое

Сузгарье (Сузгарье). Мокшанское село в Республике Мордовия. Название делится на три части: *суз-кяр-ге*, где -кяр “селение на отшибе, в стороне от основного населенного пункта”; -ге- топоформант; *суз-* связано с *сузи лотка* – “Глухарный овраг”, “место обитания глухарей” (Инжеватов. Указ. соч.).

Судаль (1024*). Город во Владимирской области (первоначально – *Суждаль*). Один из древних русских городов. Существует несколько гипотез о происхождении и значении этого топонима, разной степени аргументированности и убедительности, в частности, прибалтийско-финская. По этой гипотезе, топоним сближают с эстонским *suzi* “волк”. В пользу её свидетельствует лишь то, что до прихода славян в этом регионе проживало финноязычное население, а возможно, и дофинноязычное.

А.А. Шахматов считал этот топоним финно-угорским и сделал попытку реконструировать его из финского *susudal*, что было отвергнуто М. Фасмером, предложившим считать первоначальной формой *Суждаль*, давшего э позже в результате ассимиляции *ж* и *с*. Существует и несколько упрощенных, народных этимологий этого топонима (Никонов. Указ. соч.).

Наиболее предпочтительным в настоящее время является предположение О.Н. Трубачева: корень *зд* (< *зъд*) он соотносит с древнерусским *зъдь* “глина”. Отсюда *зъдчий* “горшечник”, *здати* “создать” (из глины). Остальные элементы названия вполне объяснимы на материале русского языка, например: *су-гроб, сгребать*; -ль известно довольно широко – *не-вид-а-ль* и др. Из этого следует, что топоним *Судаль* является древнерусским по происхождению, образован от глагола *съзъдати* (> *создать*), т.е. “сделать из глины”, “возвести каменную постройку”.

Версия о создании Судалья из камня и глины поддерживается и ис-

торическими данными, в частности, тем, что археологи обнаружили здесь печь для обжига кирпича, которую они датируют XI–XII веками. Вероятно, это был город известных мастеров-каменщиков, что и отразилось в названии города. Но и нельзя пройти мимо записи в Московской летописи (XV в.) под 1191 годом о том, что Суздаль был срублен: “6699: Заложил князь великий Всеволод град Суздаль, того же лета срублен бысть”, т.е. построен из дерева (а не из камня).

– Современный Суздаль – это город-музей, с замечательными образцами русской архитектуры. Известный центр международного туризма.

суздальцы, суздалец и суздальчәне, суздальчанин, суздальчанка, устар. сужальцы

суздальский, -ая, -ое

Суздальцы – богомазы. Имеется в виду то обстоятельство, что в Суздале было много иконописных мастерских и что основная часть мужского населения занималась писанием икон: их называли *иконописцами*, а в просторечии *богомазами*. В Суздале да в Муроме Богу помолиться, в Вязниках погулять, в Шуре напиться. Так отражается специфика каждого города в восприятии местного населения.

Суздальское озеро, Большое Суздальское, Верхнее Суздальское и Среднее Суздальское. Группа озер в окрестностях Петербурга от Поклонной горы к Парголово. Название дано по бывшей здесь Суздальской слободе, которая в петровские времена была заселена выходцами из Суздаля Владимирской губернии. См. *Суздаль*.

Сузелятка. Русское село в Республике Мордовия. Известно с 1869 года как пензенская деревня *Сузелятки (Польские)*. И.К. Инжеватов возводит этот топоним к мордовскому *сузи лотка* “глухаринный овраг”, “место обитания глухарей” (Инжеватов. Указ. соч.). *Польские* значит “находящиеся за лесом, в ополье”.

Сура́. Река, правый приток Волги на территории ряда областей и республик Среднего Поволжья. В Мордовии – *Сура* и *Суро*; удмуртское (у горных мари) *Шур*. Это дает основание связать гидроним с дофинно-угорским и допермским *шур (шер)* “река, ручей”, “болото”. В.А. Никонов не исключал связи гидронима с мордовским *суро* “хлеб”, т.е. *Сура* – *Хлебная река*, возможно, река, по которой доставляли хлеб на Волгу. Все же, по мнению В.А. Никонova, происхождение названия остается неясным (Никонов. Указ. соч.).

Примерно так же считает и Л.Л. Трубе (Как возникали географические названия Горьковской области). По его мнению, мордовское *суро* значит “просо” – *Просяная река*, так как просо было первой зерновой культурой, которую возделывала мордва по приходе в эти места. Марийское *Шур* он связывает с *шур (шор)* “овраг, ответвление”, то есть *Сура* – приток (отрог) Волги. Чувашское название этой реки он связывает с *суре* “мутная”.

су́рский, -ая, -ое

Сура – речка у нас важная: доньшко серебряное, крутые бережки позолочены. Речь здесь идет о сурской воде, которая имеет (имела) серебристый оттенок, а берега – золотой, так как они состояли из желтого песка.

Сура́ж (1781). Город в Брянской области. Происхождение названия не ясно. Исследователи сходятся на том, что оно родственно топониму *Сурож* (< *Сурожь*), относящемуся к древнему торговому городу на Черном море (современный Судак). Нет удовлетворительного объяснения тому, как это название попало на Брянщину. А.А. Шахматов считал, что оно было перенесено в начале нашего тысячелетия из Крыма русскими, которые пришли сюда под натиском тюркоязычных народов (Шахматов А.А. Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919). М. Фасмер тоже считал эти названия родственными (Фасмер. Т. III). Соотнесение названия города *Сураж* и реки *Сура* не имеет никаких оснований.

Более убедительным представляется славянский аспект этого топонима – от личного мужского имени **Sarad*, у чехов в форме *Surad*, но не известного в русском языке (Трубачев О.М. Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східно-слов'янської топонімії // Мовознавство. Київ, 1976. № 6). Это предположение подтверждается и тем, что до XVIII века брянский Сураж назывался деревней *Суражичи*, с патронимическим суффиксом *-ичи* (Добродомов И.Г. Булгарские следы на карте // Русская речь. 1975. № 6). *Сураж* – город Сурада (с суф. *-j*- типа *Ярославль* – город Ярослава). Возможны и другие предположения.

суража́не, суража́нин, суража́нка, сура́жцы, сура́жец

сура́жский, -ая, -ое

Су́рск (1953). Город в Пензенской области основан в 1849 году как выселок из села Никольского и назывался *Никольский Хутор* (с. Никольское по храму Николая Чудотворца, хутор – тип поселения, выделившегося из основного). Современное название дано по реке Сура. См. *Сура*.

су́рцы, су́рец

су́рский, -ая, -ое, сурской, -ая, -ое

Су́санино. Поселок в Костромской области. В названии отражена фамилия народного героя Ивана Сусанина, который в 1613 году жертвуя собой, умышленно завел отряд оккупантов в непроходимые болота на верную гибель и погиб сам. До 1938 года – село *Молвитино*. Фамилия *Сусанин* приведена Веселовским без каких-либо помет (Указ. соч.).

су́санинцы, су́санинец, устар. молви́тинцы, молви́тинец

су́санинский, -ая, -ое, молви́тинский, -ая, -ое

Су́хынчи (1840). Районный центр Калужской области. В основе названия, вероятно, фамилия *Сухин* + патронимический суффикс *-ичи*,

т.е. *Сухиничи* – это селение Сухина и его близких. В XVI–XVII веках среди жителей города Белёва, поблизости от Сухиничей, известна фамилия Сухинин: Сухинин Федор, помещик, конец XVI в., Сухинин Власий Федорович, помещик, 1627 г. (Веселовский. Указ. соч.).

сухиничане, сухиничанин, сухиничанка и сухининцы

сухиничский, -ая, -ое; сухинический, -ая, -ое

Сухобезводное. Поселок (и железнодорожная станция) в Нижегородской области, основанный в 1944 году. Название отражает местоположение поселка на высоком водоразделе между реками Керженцем и Ветлугой, где на расстоянии нескольких километров нет водных объектов, даже небольших речек.

сухобезводненцы, сухобезводнинец

сухобезводнинский, -ая, -ое, сухобезводненский, -ая, -ое и

сухобезводный, -ая, -ое

Сходня (1961). Город в Московской области. Название дано по реке Сходня, на которой он расположен. Ранние названия реки – *Всходня*, *Входня*, *Выходня*. Наличие этих форм дает основание довольно убедительно связывать гидроним с глаголом *всходить* “входить” (ср. русск. диалект. *взойти*, *взошел* “войти, вошел”) и *выходить*. Сходня всегда была важной водной магистралью, по которой поднимались вверх по течению суда из Москвы-реки и через небольшой волок переходили в Клязьму. Варианты названия *Сходня*, *Выходня* свидетельствуют об обратном пути следования судов из Клязьмы в Москву-реку. Наличие такого волока и пути следования судов зафиксировано в документах. Не исключено, что эти формы – только результат упрощения группы согласных *всх-*.

сходнинцы, сходнинец и сходненцы, сходненец

сходнинский, -ая, -ое и сходненский, -ая, -ое

Сычёвка (1776). Город в Смоленской области. Название образовано от прозвища *Сыч* или фамилии *Сычёв* (первопоселенец или один из владельцев), известных у русских в XV–XVII веках. Ср. Василий Михайлович Сыч-Шестов – XVI в., Федор Иванович Сычев – 1627 г. (Веселовский. Указ. соч.).

сычёвцы, сычёвец

сычёвский, -ая, -ое

Сясь. Река в Новгородской и Ленинградской областях, впадает в Ладожское озеро. Другое название *Комариная*, что раскрывает происхождение этого гидронима: от вепсского сяськи “комар” (Кисловский. Знаете ли вы?).

Продолжение следует



“...ЧТО СУЖДЕНО, ТОМУ НЕ МИНОВАТЬ”

***Мотив судьбы
в “Повестях покойного Ивана Петровича Белкина”***

***Л.Б. САВЕНКОВА,
кандидат филологических наук***

По наблюдениям отечественных этнолингвистов прошлого века А.Н. Афанасьева и А.А. Потебни, в русском национальном сознании судьба предстаёт как независимое от воли человека предопределение свыше. Это обуславливает наличие двух значений понятия *судьба*: “события чьей-либо жизни” и “таинственная сила, определяющая события

чьей-либо жизни", и – соответственно образование двух синонимических рядов: 1) *рок, фатум, фортуна*; 2) *доля, участь, удел, жребий* (подробнее об этом см.: Бусыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира: на материале русской грамматики. М., 1997. С. 489).

Предопределение судьбы, по мифологическим представлениям наших предков, заключено в том, что жизненный путь каждого человека намечен некими высшими силами и его нельзя изменить, подправить. Единственное, что человек может сделать – это узнать свою судьбу путём гадания (что, однако, осуждается как грех) или через посланников потустороннего мира, являющихся в образе странников, нищих, случайных встречных (Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 370–371). Это нашло отражение в различных жанрах русского фольклора – плачах, духовных стихах, пословицах и др. (об этом см., напр., статью С.Е. Никитиной в сборнике "Понятие судьбы в контексте разных культур". М., 1994; исследования русского пословичного фонда, предпринятые нами, показали, что размышления народа о судьбе переданы в более чем четырехстах пятидесяти изречениях).

Художественная проза А.С. Пушкина убеждает, что в ней мотив судьбы один из самых значимых. Достаточно обратиться к "Словарю языка Пушкина", где слово *судьба* отмечено 290 раз, *рок* – 20, *роковой* – 62, *фортуна* – 14; *доля, участь, удел, жребий* (как синонимы слова *судьба* во втором значении) – 11, 72, 27, 37 соответственно. Нет в языке Пушкина иноязычной лексемы *фатум*, зато широко использовалась поэтом тоже иноязычная *фортуна*.

Примеры обнаруживаем в "Повестях покойного Ивана Петровича Белкина", за исключением "Гробовщика", в центре внимания которого находится комический эпизод, момент, когда герой путает сон с явью, о судьбе же речь не идёт. Во всех остальных повестях описываются истории жизни персонажей, и мотив судьбы-божества и судьбы-доли является одним из ведущих.

Прямое упоминание *судьбы* встречаем только в двух повестях пушкинского цикла. Причем в "Выстреле" *судьба* выявлена в одном случае, в значении "жизненный путь". Повествователь сообщает о Сильвио: "Какая-то таинственность окружала его судьбу..." (здесь и далее курсив в цитатах наш. – Л.С.). В "Метели" это слово повторяется четырежды, один раз – синонимично словам *удел, доля, участь* ("<...> наконец единогласно все решили, что видно такова была *судьба* Марьи Гавриловны"), а три раза – обозначая некую высшую силу, распоряжающуюся жизнью человека. О Владимире и Маше говорится, что они "клялися друг другу в вечной любви, сетовали на *судьбу*"; описание эпизода тайного отъезда героини к месту предполагаемого венчания автор прерывает фразой: "Поручив барышню попечению *судьбы* и искусству Терешки-кучера, обратимся к молодому нашему любовнику"; своё чувство к Маше Бурмин воспринимает как нечто, почти вовсе не

зависящее от его воли: “Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей...”.

Ни в предисловии “От издателя”, ни в повестях “Станционный смотритель” и “Барышня-крестянка” слово *судьба* не встречается вообще. Добавим, что во всём цикле нет ни одного из упомянутых его синонимов. Думается всё же, несмотря на сказанное, мотив судьбы в повестях звучит очень отчётливо. Каким же образом это обеспечивается?

Бросается в глаза, что пушкинские герои, в числе которых и сам повествователь, постоянно испытывают на себе влияние каких-то посторонних сил. Они делают не то, что им самим хотелось бы, а то, что *вынуждены* делать под влиянием *обстоятельств* или по воле людей, от которых они зависят. Недаром читатель сталкивается с такими фразами, как “Смерть его родителей (...) *понудила* его подать в отставку”, “Иван Петрович *принужден* был отменить барщину” (“От издателя”); “Обстоятельства *требуют* немедленного моего отсутствия”, “Обстоятельства. верно, *вас разлучили*?”, “Мне *должно* было стрелять первому (...). Положили *бросить жребий*: первый номер *достался* ему”, “Домашние *обстоятельства принудили* меня поселиться в бедной деревеньке Н^{***}”, “...*кинем жребий*, кому стрелять первому (...) я *вынул* опять первый номер” (“Выстрел”); “*родители* (...) *запретили* дочери о нём и думать”, “*воля жестоких родителей препятствует* нашему благополучию” (“Метель”); “В дождь и слякоть *принужден* он бегать по дворам”, “Обстоятельства некогда *сблизили нас*”, “Обстоятельства *привели* меня на тот самый тракт” (“Станционный смотритель”).

Как видим, “автор” повестей, Иван Петрович Белкин, прожил жизнь во власти судьбы. Поступив в юности в военную службу, он оставляет её не по своей охоте. Неназванный “друг автора” подчёркивает, что подать в отставку и вернуться в “свою отчину” молодого человека “*понудила*” смерть его родителей. Попытки вести хозяйство не увенчались успехом “по причине (...) неопытности и мягкосердия”, а точнее, по неспособности хозяина вести сколько-нибудь активный образ жизни. В результате он “*предал* (...) *дела распоряжению всевышнего*”, “вёл жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств”. Он не жил, а просто существовал и умер от “простудной лихорадки”, “*несмотря на неусыпные старания уездного (...) лекаря*”. Попытка лекаря продлить Белкину жизнь оказывается обречённой на неудачу, даже если болезнь – обыкновенная простуда. Как будто нарочно лекарь оказывается “весьма искусным” “в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного”, – не более. “Автор” предстает человеком, которому, похоже, всё равно – жить или умереть. Главное – не напрягать сил, не сопротивляться обстоятельствам, а там будь что будет.

Русская пословица гласит: *человек предполагает, а Бог располагает*.

ет. Именно это высказывание, как кажется, составляет подтекст “Повестей Белкина”, хотя автор его и не употребляет. Зато читатель видит, что в каждой повести героев подстерегает неожиданный поворот событий, непредвиденный случай, который происходит помимо их воли, *вдруг*. Иногда в тексте появляется само это слово, иногда же впечатление неожиданности поддерживается с помощью других языковых средств. Ср. в “Выстреле”: “Я спокойно (или беспокойно) *наслаждался* моею славою, *как определился* к нам молодой человек богатой и знатной фамилии” (глагол несовершенного вида *наслаждался*, создающий образ длительного стабильного состояния, сменяется глаголом совершенного вида *определился*, который называет однократное, одномоментное действие; союз *как* синонимичен здесь союзу *как вдруг*); в “Метели”: “Прихав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, *как вдруг* поднялась ужасная метель...”.

В “Барышне-крестьянке” описание встречи соседей, неприязненно относящихся друг к другу, содержит сразу четыре лексических указания на непредсказуемость ситуации: “*Вдруг* важное происшествие чуть было не переменяло их (Лизы и Алексея. – Л.С.) взаимных отношений. (...) Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова *вовсе неожиданно* и *вдруг* очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела (...) лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, *вдруг* кинулась в сторону, а Муромский не усидел”. Последующее развитие событий также предстаёт цепочкой неожиданностей. Боясь “разоблачения”, Лиза не может решиться, выходить ли ей к гостям. Автор сообщает: “*Вдруг* мелькнула ей мысль. Она тотчас передала её Насте; обе обрадовались ей как *находке*” (звучит так, будто мысль *подсказана* кем-то неведомым, не судьбой ли?). Врасплох застаёт Лизина выдумка и её отца: “Все встали; отец начал было представление гостей, но *вдруг* остановился и поспешно *закусил себе губы*”. Наконец, самая развязка повести, где Алексей узнаёт, что Лиза и Акулина – одно лицо, тоже построена на эффекте неожиданности, переданном коротеньким предложением, в котором вслед за обычным физическим действием через паузу характеризуется степень замешательства персонажа, его крайнего изумления: “Он *вошел... и остолбенел!*”. То, что для героев повестей кажется неожиданным и случайным, читателями может быть расценено как действие высших сил.

Когда в ход событий вмешиваются роковые силы, герои на время даже лишаются способности управлять собой. Об этом в тексте свидетельствуют слова и фразеологические единицы, характеризующие эмоционально-интеллектуальное состояние персонажей – нечто вроде временного умопомрачения и последующего удивления по отношению к собственным действиям: “*Не понимаю, что со мною было и каким об-*

разом мог он меня к тому принудить...” (“Выстрел”); *“...непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал”*; «Старый священник подошёл ко мне с вопросом: “Прикажете начинать?” – “Начинайте, начинайте, батюшка”, – отвечал я *рассеянно*... Девушку подняли. (...) *Непонятная, непростительная ветреность*... я стал подле неё перед налоем”; *“...не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал”* (“Метель”); “Бедный смотритель *не понимал*, каким образом *мог он сам позволить* своей Дуне ехать вместе с гусаром, как *нашло на него ослепление*, и что тогда было с его разумом” (“Станционный смотритель”). В центре всех этих высказываний глаголы (*понимать, знать, помнить*) или отглагольные образования (*понятное, понятная*) с отрицанием *не*, использование которых даёт возможность передать мысль о том, что в критические моменты жизни человек перестаёт принадлежать себе и становится игрушкой в руках судьбы. Когда перелом наступил, сознание проясняется, однако изменить что-либо уже поздно. И средства противостоять судьбе нет, ведь человек *предполагает*, не имея возможности *располагать* собой. Чаще всего он просто не догадывается о том, что его ожидает. В “Барышне-крестьянке” повествователь подчёркивает, что отец Лизы не *“мог предвидеть”* встречи со своим соседом, иначе бы постарался её избежать (*“конечно б он поворотил в сторону”*). Это еще одно свидетельство того, что человек, по мнению автора, не властен в выборе своего будущего.

Догадываться либо не догадываться о том, что его ждёт, человек может лишь в соответствии с желанием или нежеланием судьбы. Но это не знание, а всего лишь предчувствие. К примеру, *“печальное предчувствие”* охватывает повествователя, подъезжающего через несколько лет после первого знакомства к дому станционного смотрителя. Впоследствии оно подтверждается: Самсон Вырин давно умер.

Суеверие гласит, что судьба может предостерегать человека от выбора нежелательной линии поведения, ставя преграды на его пути. Своевольный человек, как правило, не обращает внимания на эти знаки судьбы. Так происходит, например, с Владимиром в “Метели”. В славянской мифологической традиции судьба как высшая сила может действовать через посредников, в частности, через родителей. Поэтому противиться воле родителей нельзя: это всё равно, что спорить с самой судьбой. А ведь именно Владимиру, как замечает повествователь, пришла в голову “счастливая мысль”: *“...если (...) воля жестоких родителей препятствует* нашему благополучию, *то нельзя ли нам будет обойтись без неё?”* Ослеплённый любовью, молодой человек не замечает ничего вокруг, не думает о возможном наказании за свой грех и чрезвычайно небрежен к себе. Если к невесте он *“отправил своего надёжного Терёшку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом”*, то сам отправился на *“маленьких санях в од-*

ну лошадь” “один без кучера”. Автор сообщает, что ненастье застало героя врасплох: “...едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел”. Пока Владимир пытается противостоять обстоятельствам, стихия неистовствует, что передаётся гиперболическим описанием: “В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу, небо слилось с землею”. Пушкин последовательно показывает, как слабеет воля его героя в борьбе с метелью. Это достигается рядом глагольных сочетаний, отображающих действия и меняющийся эмоционально-волевой настрой Владимира. Если сначала он, заплутав, “хотел снова попасть на дорогу”, то затем “старался только не потерять настоящего направления”. Но тут Владимир ещё продолжает сопротивляться. Автор вводит в текст повествователя реплику, отражающую уверенность персонажа: “Жадрино должно было быть недалеко”. Затем это чувство сменяется иным: “Владимир начинал сильно беспокоиться”; “Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им”. И чуть далее: “Слёзы брызнули из глаз его”. Отчаяние было вызвано пониманием бессилия. Герой сдался.

Интересно заметить, что Пушкин дважды употребил одно и то же слово (*наудачу*), сначала по отношению к лошади (“лошадь ступала наудачу”), а затем по отношению к седоку (“он поехал наудачу”). Возможно, что этот повтор должен передать мысль: лошадь идёт, не выбирая дороги, просто потому, что не умеет выбирать, не знает цели, которая заставляет её идти в Жадрино. Да и выбора как такового нет: метель не выпустит пленника, пока не наступит время его выпустить. Владимир поехал *наудачу* именно тогда, когда понял бессмысленность противостояния судьбе. Путник покорился, как до этого покорилась лошадь, – и стихия сразу изменила своё отношение к нему. За предложением “Слёзы брызнули из глаз его; он поехал наудачу” сразу следуют такие: “Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, усталая белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна”.

В отличие от Владимира, Маша, прежде чем нарушить волю родителей, “долго колебалась”. Вероятно, поэтому метель к ней более благосклонна. Она предвещает опасность заранее. В описании приготовлений девушки к побегу из дома встречаются слова “угроза и печальное предзнаменование”. В сознании Маши метель – знак потусторонних сил – предупреждение от своеволия, от нежелания покориться судьбе. Правда, героиня не подчиняется этому знаку, но осознаёт его и страшится будущего. Очевидно, такое разное поведение влюбленных отозвалось на “вынесении приговора” судьбы в дальнейшем: Владимир был инициатором, зачинщиком бунта против рока и потому умер от ран, а Маша, поддавшаяся соблазну, но достаточно пассивная, терза-

мая угрызениями совести, всё же обрела впоследствии своё счастье.

Одним из самых убедительных подтверждений веры героев (и автора) в судьбу представляется введение в текст повестей пословиц, в которых речь идёт именно о её неизбежности: *“суженого конём не объедешь”* (“Метель”), *“от беды не отбожишься”*, *“что суждено, тому не миновать”*, *“что сделано, того не воротить”* (“Станционный смотритель”).

Конечно, было бы несправедливо утверждать, что в “Повестях Белкина” человеческая жизнь предстаёт как путь, на котором человеку отведена роль всего-навсего “бычка на верёвочке”: куда ведёт судьба, туда он и следует. Такая мысль была бы инородной для русского сознания.

Анализируя представления русских о судьбе, В.Г. Гак указывает, что в них нет безысходного фатализма. Да, человек находится во власти судьбы, но он отчасти может её изменить. Например, поворотом на жизненном пути может стать благоприятный случай, который не следует упускать. Кроме того, человек порой может сам выбрать направление своей судьбы, если она предполагает варианты: ищущий приключений найдёт их, мнящий себя жертвой станет ею и т.д. (Гак В.Г. Судьба и мудрость // Понятие судьбы в контексте разных культур. С. 204–206). Вспомним: Ивану Петровичу Белкину было хлопотно и утомительно жить, он старался плыть по течению, не сопротивляясь обстоятельствам. Он жил по инерции, и умер, потому что за болезнью должна следовать кончина. Выходит, человек получил то, против чего не возражал.

Ту же самую мысль – человек получает судьбу, которую *сам* выбрал или о которой *сам* мечтал, – можно обнаружить во всех анализируемых повестях. Рассмотрим, к примеру, судьбы героев “Выстрела”.

Сильвио предстаёт перед читателем как человек явно отмеченный высшими силами. Недаром, первое же его описание включает замечание повествователя: *“Какая-то таинственность окружала его судьбу”*. Всё в Сильвио поражало окружающих: несоответствие русского облика и иностранного имени; сведения о бывшей “счастливой” службе в гусарах и неожиданной, необъяснимой добровольной отставке; безрасчётная расточительность, несмотря на явную бедность; наконец, отказ ответить дуэлью на оскорбление, притом, что в трусости или неумении драться никто его заподозрить не мог. Ощущение невозможности для окружающих проникнуть в тайну жизни Сильвио подчёркивается рядом слов и синтагм, передающих отсутствие либо недостаточность знания в соединении с чувством подсознательного запрета на расширение информации (ср.: *“он казался русским”*; *“никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку”*; *“Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать”*; *“Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва”*).

Приоткрывая завесу своей тайны другу, Сильвио признаётся, что смолоду привык первенствовать во всём и терпеть не мог соперничества. Свою жизнь он как будто бы строит без вмешательства потусторонних сил. Он *сам* добивается всего, чего хочет, и *сам* создает к себе уважительное и даже восторженное отношение товарищей: “В наше время буйство было в моде: я *был первым буяном* по армии. Мы хвастались пьянством: я *перепил славного Бурцова*, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я *на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом*”.

Когда неожиданно в полку появился молодой человек, не имевший нужды завоевывать авторитет или добиваться поклонения, – он обладал всеми достоинствами, которые только можно вообразить, – первенство Сильвио поколебалось. Дальнейшая жизнь обоих гусаров как раз и может служить иллюстрацией тезиса: каждый получает желаемую судьбу. Граф Б. живёт, как живётся, доволен всем, что у него есть, он, по определению Сильвио, “*вечный любимец счастья*”. Этот человек вполне благополучен и притом не дорожит тем, что имеет. Он просто не задумываясь пользуется щедростью фортуны. Поссорившись с Сильвио, граф не боится дуэли, не стремится воспользоваться предложенным противником правом первого выстрела, однако судьба заставляет его воспользоваться этим правом. Вспомним: “Положили *брошить жребий*: первый нумер *достался* ему”. Когда через пять лет дуэль возобновляется, повторяется и ситуация жеребьёвки. И вновь “первый нумер” достаётся графу. Стоит обратить внимание, что автор устами Сильвио подчёркивает: необыкновенное везение графа – именно от покровительства потусторонних сил: “Ты, граф, *дьявольски счастлив*”. Семантически опустошенный в современном русском языке, эпитет *дьявольски* в пушкинском тексте воспринимается значимым.

Продолжение дуэли по воле Сильвио происходит тогда, когда жизнь графа переменялась. Если в молодости он ничего не боялся, ни о чём не задумывался, ничем не дорожил, кроме своей чести, то теперь он страшится за судьбу молодой жены и не хочет умирать. Правда, честь дворянина делает невозможным отказ от поединка. Но (удивительно!) Сильвио, удовольствовавшись видом смятения и робости противника, всё же не убивает его. Выходит, что судьба благоволит графу в соответствии с его собственным страстным желанием жить.

А что же Сильвио? Взмешенный презрением графа к смерти, обнаруженным при первой дуэли, он всю свою дальнейшую жизнь вплоть до возобновления поединка жил одной мыслью, которую сформулировал так: “С тех пор *не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении*”. Буян, повеса, скандалист, Сильвио уходит в отставку, ведёт себя крайне сдержанно и осмотрительно, не ввязывается в ссоры, не участвует в дуэли даже тогда, когда она кажется окружающим, во-первых, неизбежной, а во-вторых, совершенно безопасной для него. Он *свое-*

вольничает, не полагается на судьбу, а сам оберегает свою жизнь, чтобы добиться того, что сделалось смыслом существования, – отомстить графу. Но вот цель достигнута, Сильвио удовлетворён унижением противника. Казалось бы, теперь он должен торжествовать, вновь вернуться к прежнему образу жизни, стать центром, душой общества. Нет, жажда мести уничтожила в нём все остальные желания. Он уже не способен просто жить. Вероятно, он сознательно ищет смерти. И судьба поступает в соответствии с новым настроением героя. Он, блестящий стрелок, “сажающий пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам”, попадающий из пистолета в муху на стене, “был убит в сражении”, предводительствуя отрядом греческих повстанцев (заметим, странное продолжение и завершение жизненного пути с обывательской точки зрения, особенно если учесть, что в былые годы Сильвио не имел тяги к какой-либо политической деятельности, революционному вольнодумству, в том числе и освободительной борьбе на чужбине).

Приблизительно так же, как в “Выстреле”, обстоит дело и в других повестях: в “Метели” героиня страстно влюбляется именно в того, кто по причудливому стечению обстоятельств (то есть по велению судьбы) уже стал её супругом перед Богом, в “Барышне-крестьянке” враждовавшие ранее помещики становятся друзьями и договариваются о союзе своих детей, которые стремятся к тому же, хотя и считают личное счастье невозможным. Станционный смотритель не может вернуть дочь, видимо, потому, что сам отказывается от этой мысли. Повествователь сообщает: “Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решил отступить”.

В задачу писателя не входит разговор о трагичности человеческого бытия. Он лишь убеждает читателя в том, что существование человека зависит в первую очередь от того, что ему предначертано, но это не значит, что оно обязательно должно быть наполнено только горестями, бедами и печалью. Слово *судьба* в наибольшей степени отвечает такому представлению. Оно самое широкое по семантике по сравнению с остальными своими синонимами.

В целом все пушкинские повести оптимистичны, несмотря на то, что в каждой из них, кроме “Барышни-крестьянки”, кто-то умирает. Однако смерть воспринимается как закономерный исход, завершающий жизненный путь каждого человека. Смерть – не страдание, она – благо, даруемое судьбой. Для Ивана Петровича Белкина смерть – избавление от необходимости решать головоломки реальной жизни. К тому же этот персонаж умер для светского общества ещё до своей кончины, замкнувшись в собственном мирке сочинительства. Сильвио смерть освободила от скуки и неутолимой жажды лидерства: став героем среди греческих этеристов, он обеспечил себе славу в памяти их потомков. Для Владимира смерть – способ перестать мучиться угрызениями совести по поводу невольного обмана девушки, вверившей ему свою жизнь

и честь. И это пушкинское спокойное восприятие неизбежности смерти как последнего дара судьбы тоже свойственно русскому мышлению.

Смерть неизбежна и наступает для каждого именно тогда, когда она должна наступить: “Без поры душа не выйдет”; “Бог души не вынет, сама душа не выйдет”. Трагедии в самом факте смерти нет: “Умереть сегодня – страшно, а когда-нибудь – ничего”. Именно так воспринимается и уход из жизни пушкинских героев. Автор избегает описания самой ситуации умирания. Ср. в “Выстреле”: “Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и *был убит* в сражении под Скулянами”; в “Метели”: “Владимир *уже не существовал: он умер* в Москве, накануне вступления французов”; в “Станционном смотрителе”: «В сени (...) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель *с год как помер*, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. (...) “Отчего ж он умер?” – спросил я пивоварову жену. “*Спился, батюшка*”, – отвечала она». Сообщение о смерти воспринимается как незначительный, рядовой, будничный факт. Читатель получает сведения самые минимальные: когда, где и отчего скончался герой. Но внимания на этом не заостряется, и отрицательных эмоций других персонажей или повествователя не передаётся. В итоге смерть и ощущается как заключительный шаг – из мира людей в мир потусторонний, туда, куда ведёт судьба.

Поистине, А.С. Пушкин выступает в своей художественной прозе выразителем русского оптимистического фатализма: *что суждено, тому не миновать.*

Ростов-на-Дону

ОТЧЕГО БЫВАЕТ ЧЕРНАЯ КРУЧИНА?

А.В. АЛЕКСЕЕВ

В наше время существительное *кручина* устойчиво ассоциируется с народно-поэтическими средствами обозначения печали и тоски. Сравним примеры употребления слова в классической поэзии XIX века, в произведениях, имеющих фольклорную окраску: “Зовет ее – но дева дремлет, / <...> Руслан с нее не сводит глаз, / Его терзает вновь кручина...” (Пушкин. Руслан и Людмила); /От кручины-думы / В сердце кровь застыла; / Что любил, как душу – /То и изменило” (Кольцов. Горькая доля). Причиной кручины становится, как мы видим, какое-либо несчастье, а чаще всего несчастная любовь или разлука с любимым человеком.

Однако совершенно неожиданным для сегодняшнего читателя выглядит употребление слова в древнерусском языке: “В мнозе бо брашье недоуг бывает, и пресыщение до кроучины дойдет” (Изборник 1073 г.). То есть кручина может возникнуть в результате пресыщения, чрезмерного увлечения едой, из-за обжорства. Как это объяснить? Дело в том, что в представленном примере наше слово употреблено в значении “болезнь, недуг”, и это совсем не случайно, ведь именно таким был первоначальный смысл существительного *кручина*.

Из всех современных славянских языков оно отмечено лишь в русском; его первая письменная фиксация относится еще к XI веку (Сл. РЯ XI–XVII вв. Вып. 8. М., 1981). Слово восходит к общеславянскому корню *krqk*, представленному в словенском *ukrokniti* “изгибаться”, *ukročiti* “согнуть”, польском *kręcz* “головокружение, судороги”.

Смысловое развитие существительного может быть реконструировано следующим образом: “то, что сгибает, крутит; спазм” → “болезнь”. Ср. в современном русском языке: *болезнь скрутила*: “Сперва он не обратил внимания на свою болезнь, запустил ее, и лишь теперь, когда она всерьез скрутила его, решил заняться лечением” (Никитин. Это было в Коканде).

Судьба слова *кручина* в древнерусскую эпоху определилась в первую очередь тем, что оно проникло в книжно-славянский тип литературного языка в качестве обозначения болезни и в результате семантического калькирования греческого *melanholia* приобрело оттенок значения “особая болезнь духа и тела: разлитие черной желчи”. Понятие о болезни передавалось исследуемым словом как самостоятельно, так и в составе словосочетания *черная кручина* (*melanholia* дословно –

“черная желчь”): “Имже уимется умъ, или на чернеи кручине падет, или бесуется” (Пчела. XIII в.). В результате метонимического переноса существительное *кручина* приобрело в древнерусском языке и другое значение, “желчь” (← “недуг: разлитие желчи”), причем могло в нем употребляться в сочетании с двумя прилагательными, обозначающими цвет: *черный* и *желтый*. Последнее обуславливалось тем, что средневековая медицина различала четыре вида субстанций, определяющих здоровье человека: кровь, слизь, черная и желтая желчь. Ср. *кручина* “желчь”: “Кровь и золчь и кручина и пища изменена” (Пчела. XIII в.); “Студен бо есть и сух, кручине же чернеи рашение есть” (Богословие Иоанна Дамаскина. XII в.); “Жлътая [желтая] кручина подобящися к огню” (там же).

Любопытно, что результатом контекстуальной трансформации понятия “желчь” стало развитие еще одного значения, “мерзость”: “Есте мяса дондеже будет вам в кручину” (Числ. XI, 20 по сп. XIV в.). Таким образом, в книжно-славянском языке XI–XIV веков существительное *кручина* приобрело целый ряд значений, соотнесенных с представлениями средневековой медицины: “болезнь” (особый оттенок – “разлитие черной желчи”), “желчь”, “мерзость”. В XV–XVI веках произошла конкретизация одного из реализуемых смыслов: “болезнь” → “эпилепсия, падучая болезнь”: “Уведевши же то и сладце приимши доброразумивый чин отроковица, сокрывает убо ту первое, рекущи яко кроучина ю оурази” (Житие Василия, епископа Амосийского. XVI в.).

В XVI веке смысловая структура *кручины* заметно обогатилась: слово стало употребляться в значениях “печаль” и “раздражение, гнев” (производное от “печаль”): “печаль” – “На государя толды кручина была, не стало в животе [в живых] брата его князя Юрья Васильевича” (Польские дела. 1563 г.); “раздражение, гнев” – “И начаша прежде с кручины говорити, и протержка меж людех была не велика и по сем начаша о миру обсылатися и говорити” (Новгородская IV летопись. 1537 г.). Существен тот факт, что в указанных значениях слово распространилось в первую очередь в памятниках народно-литературных жанров и в деловом языке. Вместе с тем *кручину* “печаль” можно встретить во многих фольклорных произведениях, записанных в XVII веке, но сложившихся гораздо раньше: “И моя бы злая кручина в веселье превратилась” (Песни Самарина); “Со кручины пропадаю, с тоски мне по моем друге засохло мое ретивое сердце” (там же). Следует предположить, что в письменность и прежде всего в народно-литературную сферу наше слово проникло из фольклора, где, видимо, было широко распространено уже в XVII веке. И именно в народно-поэтическом языке исконное значение “болезнь” заменилось на переносное “печаль”.

Однако в XVI–XVII веках взаимодействия двух традиций употребления слова, книжно-славянской и народно-литературной, не произошло. Одновременно с проникновением в письменность значений, соотнесен-

ных с эмоциональной сферой, кручина “болезнь” стало замещаться греческим по происхождению существительным *меланхолия* (представленным первоначально в разных орфографических вариантах; в русский язык оно попало через латынь и, возможно, польский). “Та же вода предреченною мерою приата временем – тогда изнутри выгонит черную кручину, то есть маленькое [меланхолиево] уныние, кое уныние бывает от черныя кручины” (Лечебник. XVI–XVII вв.)

Таким образом, приобретение и утрата словом *кручина* значений “болезнь, недуг”, “желчь”, “мерзость” было взаимосвязано с постепенным заимствованием древнерусским языком понятия “*melanholia*”. Это заимствование проходило в два этапа: в XIII веке соответствующее греческое существительное передавалось в переводах с помощью семантической кальки *черная кручина*; в 16 столетии, когда на Руси распространились западноевропейские медицинские трактаты, русский термин сделался устаревшим и был заменен прямым заимствованием: *меланхолия*.

Итак, с XVII века *кручина* “болезнь; желчь; мерзость” стало достоянием исключительно богослужебных, библейских текстов: “Кроучина: желчь... Числ. 11, 20 по сп. XVI в.: и боудет вамъ въ кроучиноу (въ мерзость)” (Востоков А.Х. Словарь церковно-славянского языка. СПб., 1858). Любопытно, что из двух новых для литературного языка XVI–XVII веков значений, “раздражение, гнев” и “печаль”, первое стало активно развиваться именно после проникновения слова в письменность, главным образом, в памятниках делового стиля: “А писано от тебя, государя с кручиною” (Отписка из Вологды. 1614 г.); “И в том их во многом озорничестве и драках, что учинят над кем какое дурно, чтоб мне от тебя не быть в великой кручине и опале” (Акты Московского Государства. 1660 г.). Указанное положение подтверждается практическим отсутствием реализации значения “раздражение, гнев” в фольклорных произведениях: “печаль” – “Не дрема меня изнимает, изнимает меня кручина великая, на житье свое горькое смотречи” (Песни Самарина); “Пойду ли я гуляти... размычку свою злую кручину по чистому полю” (там же).

Значение “раздражение, гнев” осталось стилистически ограниченным и за пределами делового стиля встречалось крайне редко, например: “Он, де, мне не умел розсказать, а мне то стало за кручину” (Повесть о разуме. XVII в.). “Печаль”, напротив, функционировало в XVII веке как основное и стилистически более нейтральное: “Отрок же той великою кручиною одержим бысть, и ни яде, и ни пия. Великий же князь велми его любляше и жаловаше, наипаче же ему не веляше держатися тоя кручины” (Повесть о Тверском Отрочьем монастыре); “Государь царь Соломан, твоя царица у нас украдена и з гробницею”. И царь Соломан в великую кручину впаде и в недоумение... И бысть Соломан в велицей печали» (Повесть о рождении царя Соломона); “То-

гда нападе на мя печаль. И зело отяготихся от кручины и размышлях в себе, что се бысть, яко древле и еретиков так не ругали, яко же меня ныне” (Челобитные протопопа Аввакума).

Существенно, что оба значения зачастую предполагали наличие в соответствующем контексте специальных речевых формул или особой смысловой, жанровой направленности. “Раздражение, гнев” соотносилось с шаблонной ситуацией, отражаемой в деловой письменности: гнев; чаще всего царский, по отношению к подданным; “печаль” подразумевало народно-поэтическую соотнесенность контекста. “Раздражение, гнев” – “Но до стола нам ныне, царская кручина на нас...” (Повесть о рождении царя Соломона); “печаль” – “Да то мне не кручина, что велел меня царь ис царства вон выслать, только одна кручина великая, что... не мог себе выбрать лошади” (Повесть о Еруслане); “Взяла кручина молода Олешу Поповича” (Сказание о киевских богатырях).

Указанными стилистическими особенностями определилась и вся дальнейшая история этих значений. “Раздражение, гнев” сохранялось лишь в тематически специализированных контекстах, соотносимых с темой взаимоотношений государя и его подданных, и стало устаревшим уже к началу XIX века: “**Кручина**: {...} 2) Стар. Огорчение, гнев, неудовольствие. *Государь князю Гагарину отказал с великою кручиною. Разряды с 1613 г.*” (Словарь церковно-славянского и русского языков. СПб., 1847).

“Печаль” и в XIX столетии, когда употребительность слова *кручина* заметно снизилась, продолжало сохранять народно-поэтическую стилистическую окраску, сделавшуюся даже более яркой: «... и вдруг опять / На вспыхнувшем лице кручина {...} / “Ясна тоски твоей причина: /Но грусть не трудно разогнать”, – Сказал старик» (Пушкин. Руслан и Людмила); “С тяжелой кручиной он возвратился к себе, и сидит пригорюнясь” (Жуковский. Сказка). В языке XX века *кручина* имеет единственное значение – “печаль, тоска”, – употребляется крайне редко и обладает устойчивой стилистической окраской фольклорного лексического средства: “А чего тужить-то, Настя?... Ежели горевать от всякой обиды да тягости – скрутит тебя кручина в три погибели” (Гладков. Вольница).



“Пошто ты преник разрушил?”

В.В. МИТИН

В современном русском литературном языке достаточно распространён глагол *рушить* со значением “ломая, разрушая, валить вниз (что-н. большое, громоздкое)” (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992). Также общеизвестны его производные: *разрушить*, *нарушить*, *порушить*, *обрушить*, которые, как правило, обозначают действие, направленное на разрушение, уничтожение чего-либо.

Однако в истории русского языка был известен ещё один глагол с корнем *руш-*, который имел форму инфинитива *рушать*. В современном литературном языке он не употребляется вообще. Среди источников, которые дают нам знание об этом слове, особое место занимают былины. Как известно, они не только повествуют о всевозможных героических событиях, но и содержат описания различных бытовых ситуаций, например, связанных с принятием пищи. Так, в онежских былинах, записанных в 1871 году А.Ф. Гильфердингом, описывается такая картина: “Россадил же было князь да Карамышевский / Всих же россадил по своим местам, / Все же ели, все же пили тут да кушали, / Его белую лебедушку тут *рушали*” (Князь Карамышевский); “Сидит молодой Ставёр да сын Годиневич, / Он не ест, не пьёт, не кушает, / Его белую лебедушку не *рушает*, / Да ничем Ставёр не хващает” (Ставёр).

В представленных отрывках слово *рушать* употреблено несколько необычно: здесь оно имеет значение “резать на части (мясо лебедя)”. Такое же истолкование даёт С.Т. Аксаков в “Записках ружейного охотника Оренбургской губернии” (1852 г.): “Лебедь живет в старинных наших песнях... На юге, в Киеве попал он в народные песни и на великокняжеские столы; его *рушала*, то есть разрезывала, сама великая княгиня, следовательно, лебедя ели”.

Глагол *рушати* (возможно, с другими ударениями – *руша́ти*) широ-

ко употреблялся в древнерусском языке со значениями “разрушать (строения)”, “нарушать”, “уничтожать, отменять; упразднять” (Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1913): “Аще земледелец храмы поставит... на пустой чюжеи земли, и по лете приидет осподарь земли, да и имеет области храмы рушати” (Книги законные, XII–XIII вв.). Однако примеров, в которых глагол *рушати* имел бы значение “резать на части”, в древнерусский период зафиксировано не было. По-видимому, это связано с тем, что такое необычное употребление слова не являлось достаточно распространенным; смысл “резать на части” появлялся у *рушати* (*рушать*) лишь в некоторых говорах. Скорее всего это были говоры, бытовавшие на севере и востоке России, так как именно на этих территориях записаны известные ныне былины со словом *рушать*.

Наиболее раннее употребление глагола *рушать* “резать на части” находим в XVII веке: “Прекрасная королевна... лебедь рушела и уронила нож под стол” (Повесть о Бове). В XVII веке также было известно прилагательное *рушаный* “резаный”, образованное от *рушать*: “Явил борисоглебец Петр Данилов мыла... рушаного 10 косяков” (Таможенная книга Тихвинского монастыря. 1665 г.).

Появление значения “резать на части”, по-видимому, было связано с большими застольями, во время которых собиралось множество гостей. В такой ситуации естественно создавалась необходимость делить пищу между участниками трапезы. Об этом же говорит употребление таких производных слов как *рушатель* “кто рушает яства за трапезой”, *рушанье* – действие по глаголу *рушать*. В результате привычное для *рушать* значение “разрушать (строения)” изменялось и получало в говорах иной вид – “разрушая целостность пищи, делить ее на части; разрезать”, или, как пишет В. Даль – “делить, кроить, резать, гов. о пище {...} Богач сядет кушать, есть что рушать”.

Глагол *рушать* обладал богатыми словообразовательными возможностями. Обозначая действие, направленное на деление пищи (мяса, птицы, мучных изделий), он мог употребляться с приставками *по-*, *на-*, *от-*, *раз-*, *над-*: “Хлеба-соли тут они откушали, / Белой лебеди порушали / И легли в шатре опочив держать” (Илья Муромец и Святогор); “*Рушать* (а не резать) жаркое”; “*Изрушать* говядину, покрошить для подачи {...} Гусь надрушан”; *Когда гусь нарушается* (т.е. будет нарушан), *подавать*”; “порушать пирог, жаркое, гуся. *Хлеба-соли покушать, лебеда (пирога) порушать*” (В. Даль. Т. II, III).

Не менее употребителен глагол *рушать* со значением “резать на части изделия из муки: пирог, хлеб, калач и т.п.”: “Просит Батыгу Батыговича / А в свои полаты белокаменны, / И хлебца соли-то ему да покушати, / А колачиков крупивчатых порушати” (Илья Муромец и Идолище); “*Рушать хлеб, пирог или жаркое. Нарушать пирога ломтями. Порушать пирог. Отрушь еще ломоть. Нарушать чего, нарезать съестного ломтями, как хлеба жареного*” (В. Даль. Т. II, III).

Действие, обозначаемое глаголом *рушать*, могло относиться не только к пище. В тверских говорах XIX века было употребительно сочетание *отрушать сукна́*. Следовательно, слово могло также иметь значение “кроить; резать ткань на части”. Отсюда в говорах появилось существительное *рушатель* “кравчий, портной”.

В. Даль отмечал, что в смысле “резать пищу на части” иногда “ошибочно говорят разрушить” (в том числе и *рушить*). Действительно, случаи такого употребления глагола *рушить* встречаются в художественной литературе XIX века: “Он ел и пил, и говорил неумолимо; рушил личину, и подливал вина, потчевал и хозяйничал, не забывая себя” (А.А. Бестужев-Марлинский. Наезды. 1831); “– Мы было пирог рушить собирались, да я думаю: кого, мол, это недостает – ан ты и вот он! Накрывать на стол – живо!” (М.В. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши. 1863–74).

В художественной литературе XIX века слово *рушать* использовалось для социальной характеристики персонажей; этот глагол производился героями-простолюдниками или людьми, которые близки к народной среде: “В логу они свежем под дубом сидят / И брашна примаются рушать; / И князь говорит: – Мне отрадно звучат / Ковши и брадины, но песню бы рад / Я в зелени этой послушать” (Толстой А.К. Слепой); “[Клим] Рассвело бело, хоть хлеб ешь. [Старуха:] Рушай, да кушай” (А.Н. Островский. Воевода).

В XX веке значение “резать пищу на части” продолжает сохраняться у глаголов на *руш-* лишь в некоторых северо-восточных говорах. Например: *разрушить, разрушивать* “резать, нарезать (хлеб, пирог и т.д.)”: “Пошто ты преник разрушил? Булку на сухари разрушил. Свичку в кажну паску воткнул, потом ее разрушивают на тарелочку, кушают” (говоры Среднего Урала: Свердловская и Тюменская области. 1984).

Таким образом, глагол *рушать* и его производные, имеющие значение “разрезать пищу на части, делить ее”, показывает, насколько самобытен в своем развитии русский язык, так как в других славянских языках слова с корнем *руш-* в таком смысле не употребляются, а именно: болгарское *руша* “рушу, разрушаю”; сербо-хорватское *рушан* “ветхий, обветшалый; начавший разрушаться, разваливаться”; словацкое *rušať* “двигаться”; польское *ruszać* “трогать кого-л. “, “шевелить, двигать”, “трогаться, двигаться”; украинское *рушати* “отправляться, трогаться”, “прикасаться, трогать”.

Калькулюс

О.А. АНИЩЕНКО,

кандидат филологических наук

“Слыхали ли вы, любезный читатель, что такое *калькулюс* (calculus)?” – спрашивает Д.И. Ростиславов, выходец из семинарии, автор книги “Об устройстве духовных училищ в России” (Лейпциг, 1869) и сам отвечает: “Едва ли”.

Что это за неизвестное слово? И почему бывший духовный воспитанник так уверен в его таинственности?

Появление слова *калькулюс* (лат. calculus “камешек”) связано с изучением латинского языка в открывавшихся при епархиях духовных школах. Это было время, когда латынь стояла выше всех предметов (конец XVIII – начало XIX вв.), когда “на латинском языке ученики семинарий излагали в классе перед наставником свои ответы, писали на нем сочинения и даже щеголяли знанием его перед публикою на диспутах, актах и публичных экзаменах” (Корольков И. О преподавании классических языков в духовных семинариях и академиях. Киев, 1876).

В целях усовершенствования знаний латинского языка, духовных воспитанников заставляли говорить между собой только по-латыни, а *калькулюс* “запечатанный пакет, свернутый в трубку лист бумаги или другой какой-либо значок” давался в руки тому, кто сказал русское слово вместо латинского. Нарушитель, чтобы избежать наказания, подкрадывался к товарищам и, услышав русскую речь, протягивал пойманному ученику *калькулюс* со словами: “En tibi calculus”, что значило: “Вот тебе *калькулюс*”. Застигнутый врасплох ученик должен был, в свою очередь, стараться передать *калькулюс* другому и тем самым извинить себя от наказания (см. об этом: Ростиславов. Указ. соч.; Гиляров-Платонов Н. Из пережитого. Автобиографические воспоминания. М., 1886. Ч. 1; Певницкий В.Ф. Мои воспоминания. Годы детства. Училищная и семинарская жизнь. Киев, 1910. Т. 1).

В качестве *калькулюса* учителя использовали различные предметы и вещи. Так, Д.И. Ростиславов рассказывал о наблюдавшемся в 60-е годы XIX века любопытном факте: преподаватель латинского языка имел обыкновение давать провинившемуся ученику трехкопеечную монету (а один из семинаристов на эту монету купил булку и съел ее, чтобы проучить учителя). Важно отметить, что к этому времени применение *калькулюса* не было обязательным, почтенный профессор действовал по своей инициативе, а отсюда вольность и непослушание со стороны ученика.

Таким образом, слово *калькулюс* в семинарской среде означало “любой предмет, который вручался ученику, нарушившему распоряжение начальства говорить только по-латыни”.

Интересно проследить, как возникло данное значение и что лежит в основе переосмысления. Семинаризм *калькулюс* восходит к латинскому существительному *calculus* с основным значением “камешек”, а также с производными: “камешек (в игре)”; “ход (в игре)”; “избирательный камешек (для голосования)” – белый – “за”, черный – “против”; “счетный камешек” (см.: Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1986; Петрученко О. Латинско-русский словарь. М., 1994).

Процесс передачи предмета друг другу под угрозой наказания и давлением педагогов игрой, конечно, не назовешь, возможно, значение “ход” (в игре) стало в духовной школе основополагающим при переосмыслении. Не менее важно, на наш взгляд, и значение “избирательный камешек”, а именно использование “черного камешка” для осуждения, неодобрения, так как вместе с *калькулюсом* ученики передавали и возможные мрачные, “черные” последствия. Было учтено семинаристами и значение “счетный камешек”: например, в Муромском духовном училище (в 40-е годы XIX века) *калькулюс* представлял собой “длинный, узкий лист бумаги”, в котором записывались имена всех провинившихся, т.е. велся их счет.

Со словом *калькулюс* у воспитанников духовных школ были связаны неприятные ощущения: страх, унижение, боль. *Калькулюс* поселял между товарищами раздоры и ненависть. Об этом писал, правда, несколько завуалированно в своей студенческой работе Н.А. Добролюбов, характеризуя методику обучения в иезуитских школах: “Им [иезуитам. – О.А.] нужно было, чтобы ученье шло успешно: это дело общее. Для достижения общей цели есть прекрасное средство – соревнование, они им пользуются, не обращая внимания на то, что личность ученика может при этом потерпеть временное расстройство. Постоянно подвергаясь разным переменам, удачам и неудачам, неизбежным, особенно при знаменитом *calculus*¹ иезуитов, ученик мало-помалу приучался не дорожить собою, ставить себя ни во что, подавлять свое самолюбие, отрекаться от своей личности...”. Характерно примечание редакции – “[лат.] – *Ред.*”, но, вероятней всего, Н.А. Добролюбов, вспоминая гнетущее воздействие методов семинарского воспитания, имел в виду специфическое значение *калькулюса*, известное ему по собственному опыту (Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. М.–Л., 1961. Т. 1).

Редакторскому коллективу так же, как и “любезным читателям” Д.И. Ростиславова, семинарское значение *калькулюса* было незнакомо, но оно нашло отражение в “Словаре иноязычных выражений и слов” Бабкина А.М. и Шендецова В.А., которые в качестве иллюстративного материала использовали уже приведенную цитату из сочинения Н.А. Добролюбова и отрывок из воспоминаний Н. Гилярова-Пла-

тонова: «Calculus, лат. Особого рода фант, которым в семинариях отмечали провинившегося ученика, употребившего русское слово тогда, когда полагалось говорить только по-латыни. Калькулюс – это то же, что “язык в институтах”. В старых семинариях ученики обязаны были говорить между собою только по-латыни; употребивший русское слово получал листочек, и он-то назывался calculus. Гиляров-Платонов: Из пережитого» (Бабкин А.М., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов. Л., 1981).

Введение калькулюса не было эффективным, плохо усвоенная латынь употреблялась по принуждению, и, как вспоминает бывший семинарист, сам испытавший на себе воспитательное воздействие калькулюса, “это была латынь ломаная, часто курьезная, слыша которую с неудовольствием поморщился бы хороший знаток латинского языка. Но наши учителя твердили нам: говорите хоть плохо, да по-латыни” (Певницкий. Указ. соч.). Начальство училищное и семинарское выражало желание, чтобы и дома, на квартирах, ученики вели беседы по-латыни. “Но это желание, – пишет В.Ф. Певницкий, – не исполнялось: калькулюса на квартирах не было, а без него не было принудительной силы к ведению разговора на мертвом чужом языке” (там же).

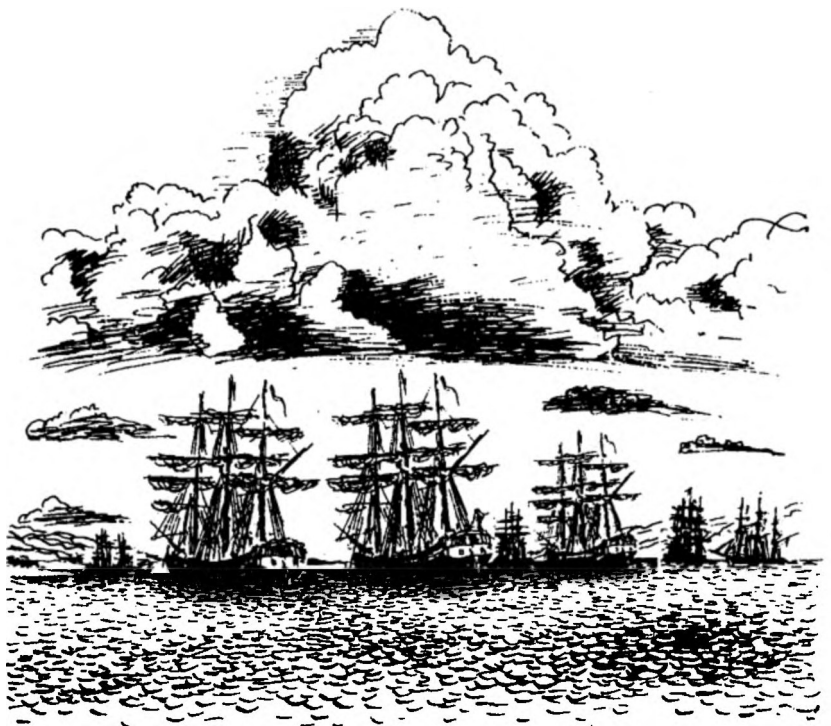
Методика обучения латинскому языку, основанная на зазубривании и принуждении, вызывала у семинаристов недовольство, проявившееся в сочиненном учениками стихотворении “Латынь и семинарист”:

Какая цель и наслажденье
И ге и иге изучить
И сотней варварских спряжений
И ум, и память отягчить?
Какое для ума стяженье
Знать bonus, homo просклонять,
Иль на латинские названья
Родную речь перевирать?

В.Крестовский. Баритон (1912)

Искажение родных слов на латинский манер проявилось в таких шуточных семинарских новообразованиях, как *свинтус*, *оболтус*, *распеканция*, *старушенция*, *штукенция* и др., которые проникли в общенародный язык и существуют в настоящее время. Слово *калькулюс*, напротив, разделило судьбу большинства жаргонизмов, не выйдя за пределы породившей его среды, но и там его жизнь была кратковременной: с исчезновением практики использования калькулюса в духовных школах исчезло и само слово.

Кокчетав,
Казахстан



Лев Николаевич ошибся?

*Ю.М. КОСТИНСКИЙ,
кандидат филологических наук*

В “Пособии для занятий по русскому языку в старших классах средней школы” (авторы – В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко) в § 72 есть фраза из первого севастопольского рассказа Л.Н. Толстого (“Севастополь в декабре месяце”):

“Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемые ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам”.

Здесь явное несогласование: “кораблями и лодками, колыхаемые” – именительный вместо творительного.

Как в издательстве “Просвещение”, где печаталась книга, этого не заметили?

Но "Пособие" с 1952 года выдержало 37 изданий (кстати, оно хорошее). Всегда ли была эта ошибка? Посмотрел в "Ленинке" все 37. Не всегда. Ошибка появилась в 33-м издании (1986 год) и далее повторялась. А в предыдущих 32 это место фразы выглядело так: "...зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью..."

"Колыхаемое" согласуется с "морем". Море, колыхаемое зыбью?...

А как было у Льва Николаевича?

Первая публикация "Севастопольских рассказов" состоялась в редактируемом Н.А. Некрасовым журнале "Современник". Открываю 6-й, июньский, номер за 1855 год – "колыхаемое". В полных собраниях сочинений Толстого – 24-томном, изданном в 1913 году, и 90-томном, юбилейном, приуроченном к 100-летию со дня рождения писателя, "колыхаемое".

Не корабли и лодки, колыхаемые зыбью, а море, зыбью колыхаемое. Возможно ли это? Немцы говорят об этом случае "хвост виляет собакой".

Надо смотреть рукопись. Но рукопись первого севастопольского рассказа, как мне сказала зам. директора по науке Музея Л.Н. Толстого Б.М. Шумова, – не сохранилась. Первоисточником остаётся публикация в "Современнике". Да и вполне вероятно, что молодой писатель внимательно читал вёрстку своих первых произведений.

Но может ли море приводиться в движение, быть колыхаемым зыбью? Зыбь – это всё же производное от моря и лёгкого ветра, а не наоборот. Море покачивается от ветра, это и есть зыбь. Вот и у Н.П. Огарёва:

"Море, в сладком усыплении, / Звучно зыблет лоно вод, / И в туманном отдалении / Смутно Капри предстаёт" ("Неаполь"). Море зыблет, колеблет лоно вод, а не зыбь колеблет море.

Недопустимая "поправка" в "Пособии" (множественное число), видимо, была на правильном пути, но "не добралась" до согласования: естественно, что корабли и лодки покачиваются, колеблются на ровной и широкой зыби, она их "колыхает".

Знающая Л.Н. Толстого почти наизусть текстолог Лидия Дмитриевна Опульская-Громова считает:

– Колыхаемыми, ... мыми – это плохо. Раз так писатель сказал – *колыхаемое*, значит, так и надо.

Верно, ...*мыми* – это плохо, но это же не стихотворение.

Может быть, Лев Николаевич всё-таки ошибся?..

О значении слова *поликлиника*

И.П. СУСЛОВА,
кандидат филологических наук

В русском языке имеется довольно большое количество сложных интернациональных слов с первой составной морфемой *поли-*, которая восходит к греческому слову *poly*, имеющему значение “много, многое”. В основном, это термины из различных областей наук: *полисемия* – многозначность слова, *полигамия* – многобрачие, *полиневрит* – множественное воспаление периферических нервов, *полиглот* – человек, владеющий многими языками, и другие.

Отдельно хотелось бы остановиться и проанализировать с точки зрения этимологии слово *поликлиника*. Обратимся с этой целью к толкованию данного слова в некоторых популярных словарях.

“Поликлиника. Лечебное учреждение с врачами разных специальностей для приходящих больных и помощи на дому” (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992). С функциональной точки зрения такое толкование известного всем слова не может вызвать никаких сомнений. Что же касается его происхождения, то здесь не дается ссылка на его греческие этимоны, однако понятие множественности *поли* вкладывается в слово “разные”.

“Словарь иностранных слов” – издание 11-е, стереотипное под редакцией А.Г. Спиркина (М., 1984) раскрывает значение слова *поликлиника*, указывая на этимологию его составных частей. “Поликлиника [*поли* ... греч. *poly* много, многое, клиника греч. *klinikē* уход за лежащим больным, врачевание] – лечебно-профилактическое учреждение, обслуживающее население (приходящих больных и на дому) квалифицированной врачебной помощью по многим специальностям”. В качестве синонима приводится слово латинского происхождения *амбулатория*.

Вопрос о происхождении слова *поликлиника* возникает, если заглянуть в “Популярную медицинскую энциклопедию” под редакцией А.Н. Бакулева и Ф.Н. Петрова (М., 1961): “**Поликлиника** (от греческого *polis* город и *klinikē* лечение) лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее всестороннее внебольничное обслуживание населения специализированной медицинской помощью по месту жительства или месту работы”. Здесь авторы указывают не на этимон *poly* (много), а на этимон *polis* (город).

Какова же в действительности этимология слова *поликлиника*? Разгадку можно найти, если проанализировать объяснение этого слова в “Толковом словаре иноязычных слов” под редакцией Л.П. Крысина

(М., 1998): “**Поликлиника** [нем. *Polyklinik* < греч. *poly* много + *klinikē* уход за лежащим больным, врачевание]. Лечебно-профилактическое учреждение, обслуживающее население (приходящих больных и на дому) квалифицированной врачебной помощью по многим специальностям; см. также *амбулатория*”. Дело заключается здесь в том, что в написание немецкого слова вкралась ошибка: в немецком языке это слово пишется не с буквой *y*, а с буквой *i* – *Poliklinik*. В немецких аналогах приведенных в начале статьи слов с первой морфемой *поли-* действительно пишется *y*: *Polysemie*, *Polygamie*, *Polyneuritis*, *Polyglott*. Почему же слово *Poliklinik* пишется с буквой *i*? Посмотрим, как толкуется это слово в немецких словарях.

“**Poliklinik**: an ein Krankenhaus angeschlossene Einrichtung für die ambulante gesundheitl. Betreuung der Bevölkerung ihres Versorgungsbereiches; eigtl. Stadtklinik (griech.)” (Großes Fremdwörterbuch. Bibliographisches Institut, Leipzig, 1977– ... примыкающее к больнице учреждение для амбулаторного медицинского обслуживания населения опекаемого им района; собств. *городская клиника* (греч.)).

Такую же орфографию и такое же значение это слово имело и в начале XX века, о чем свидетельствует, в частности, “Словарь иностранных слов” в обработке профессора К. Бётгера, изданного в Лейпциге в 1903 году: “**Поликлиника** – городская клиника, уход за больными, живущими в городе, лечение больных на дому” (перевод наш. – И.С.).

Приведенные примеры из немецких словарей позволяют сделать вывод: слово *поликлиника*, заимствованное из немецкого языка (*Poliklinik*), восходит к двум греческим морфемам *polis* город и *klinikē* врачевание, т.е. *городская клиника*.

Лечебное заведение по оказанию медицинской помощи приходящим больным в сельской местности называлось обычно *амбулатория*.

Вполне очевидно, что в настоящее время благодаря функциональной особенности поликlinik и обеспечению их врачами многих специальностей первая морфема стала восприниматься в значении “много”, чему особенно способствовала омонимия слов *poly* и *polis*. Однако, с точки зрения этимологии, словосочетание *городская поликлиника* (см. “Большой толковый словарь русского языка” под редакцией С.А. Кузнецова) является тавтологией.